

INSPIRIA

Рабьяня

Тара
Конклин



INSPIRIA

Novel. Семейный альбом

Тара Конклин

Рабыня

«ЭКСМО»

2013

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Конклин Т.

Рабыня / Т. Конклин — «Эксмо», 2013 — (Novel. Семейный альбом)

ISBN 978-5-04-117793-5

Семнадцатилетняя рабыня Жозефина – прислуга на табачной ферме в Вирджинии, тайно увлекающаяся искусством. Она планирует совершить побег, потому что не может больше терпеть капризы хозяйки и, что еще хуже, домогательства хозяина. Лина – амбициозная юристка из современного Нью-Йорка, близкая к художественным кругам и работающая над беспрецедентным иском, уходящим корнями в далекое прошлое. Роман Тары Конклин – история об уникальном таланте и о поиске справедливости, в центре которого судьбы двух женщин, разделенные пластом времени более чем в сотню лет. «Гармоничное переплетение прошлого и настоящего, судеб двух женщин, связанных искусством и стремлением к поиску справедливости». Library Journal «Убедительный и очень интересный роман, оторваться невозможно». Chicago Tribune «Создавая эту книгу, Тара Конклин подкрепила свою профессиональную смекалку серьезными историческими исследованиями». New York Daily News «Лучший синоним для романа Тары Конклин – „изысканный“. Он напоминает нам, почему держать в руках хорошую книгу – одно из величайших удовольствий». Essence «Затягивает с первой же главы». Entertainment Weekly «Драматическая история с гнетущей атмосферой и важными для повествования историческими деталями». Washington Post «Тот самый редкий роман, где смена временных линий и персонажей действительно продумана до мелочей и делает книгу по-настоящему захватывающей». BookPage

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-117793-5

© Конклин Т., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

ЧАСТЬ 1	7
Джозефина	7
Лина	12
Джозефина	23
Лина	30
Джозефина	38
Лина	44
Джозефина	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Конклин Тара Рабыня

Tara Conklin

The house girl

Copyright © 2013 by Tara Conklin

© Бараш О., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство
„Эксмо“», 2021

ЧАСТЬ 1

Джозефина

Лина

Джозефина

Штат Вирджиния 1852

Мистер дал Джозефине пощечину. Ударил ладонью по левой щеке, и Джозефина тут же поняла, что пора бежать. Она услышала свист удара, почувствовала, как его кожа обожгла ее лицо, голова закружилась, и Джозефина обернулась в сторону полей, где несколько мужчин по указанию Мистера собирали табак. Листья тяжело и низко свисали со стеблей, готовые к сбору. Она увидела чью-то голую спину, а еще нового работника Натана, который таращился в сторону дома, опершись о грабли. Воздух был сладким на вкус, жимолость, отяжелевшая от цветов, сползала по перилам крыльца, и ее сладость смешивалась со вкусом крови во рту.

Пощечина досталась ей без видимой причины. Джозефина подметала переднее крыльцо, как всегда по утрам, убирала пыль и листья, нанесенные ночным ветром. Улитка проложила тропку по сырому от росы деревянному полу крыльца и пристроила свою бурую раковину между двумя креслами-качалками. Джозефина подцепила ее метлой, резким движением выкинула во двор, а потом услышала где-то в доме позади себя голос Мистера. Он что-то сказал, она не расслышала, что именно. Не спросил, нет, интонация не была вопросительной. И вроде бы не злился. Голос звучал ровно, не торопливо, не настойчиво – так, во всяком случае, казалось Джозефине, пока он ее не ударил. Она перестала мести, обернулась, посмотрела на дом, и тут он вышел через широкую входную дверь – гордую входную дверь, как любила говорить Миссис Лу, и его рука поднялась. Джозефина увидела, как его правая рука согнулась, а губы слегка раздвинулись, но не раскрылись, лишь образовали намек на крохотную темную щель между ними. И сразу же – его ладонь на щеке Джозефины, и метла, со стуком выпавшая у нее из рук.

В этот миг внутри у Джозефины что-то сдвинулось, затронув рой разрозненных желаний, рассеянных в душе. Их было много – всех и не перечислить, и большинство совсем простые: поесть как следует, когда проголодалась, улыбнуться, не задумываясь, надеть платье, которое ей впору, повесить на стену картинку, которую нарисовала, любить того, кого сама выбрала. И все они чудесным образом слились воедино именно в это сентябрьское утро, когда ее желудок жаждал завтрака, а в небе светило щедрое розовое солнце. Сегодня последний день, других не будет.

Потом она пыталась, но так и не смогла объяснить Калебу, почему именно в этот миг все решилось. Ей запомнилась улитка, изгиб ее раковины и жаркие краски рассвета. Все, что было потом – доктор Викерс, и то, что сделала Миссис Лу, – не изменило решения, принятого Джозефиной там, на крыльце, после пощечины Мистера. Так она и сказала потом Калебу, что если бы даже в тот день больше ничего не произошло, она все равно убежала бы. Да, она убежит.

Джозефина снова повернулась к Мистеру. Где-то за рекой свистела птичка: «фью-фью-фью», голосок чистый, как солнечный день.

– Присмотри за Миссис, – сказал Мистер. – Не забудь, сегодня придет врач.

Он сошел с крыльца на грунтовую дорожку и посмотрел на Джозефину; его темная борода была пропитана пылью полей, глаза прятались в тени. В прошлом месяце сторела дотла

сушильня, а с ней погибло несколько лошадей, их рев было страшно слышать. Еще до этого, зимой, умер отец Мистера, Папа Бо, да еще корова перестала доиться, и Хэп, полевой работник, умер от укуса пчелы. Он весь раздулся и принялся царапать землю, сказал Отис, так, будто сам себе могилу рыл, чтобы другим лишней работы не давать. А тут еще Миссис Лу с ее припадками. Да, Мистеру несладко приходится, у него есть причины для печали. Но Джозефине не было жаль его.

Она кивнула, ее щека горела.

Джозефина смотрела, как Мистер уходит. Хотелось прижать ладонь к щеке, но она не стала этого делать. Она выплюнула красную полоску слюны на ветхие половицы, растерла ее босой ногой, взяла корзинку, сошла с крыльца и двинулась вдоль стены. Она ощущала легкость, почти головокружение. Джозефина спустилась по низкому склону, трава холодила ноги, солнце поднялось чуть выше, легкий туман рассеялся. Бежать. Это слово эхом отдавалось у нее в ушах, жидкостью разливалось в голове. Бежать.

Джозефина родилась не в Белл-Крике, но других мест она не знала. Берег реки, кухонное корыто, печка, поле – это и были четыре стороны света для Джозефины все семнадцать лет ее жизни. Миссис Лу держала ее при себе: в город по делам посылала другую служанку, а в путешествия брала с собой чужую девушку, которую нанимала у Стэнморов. А Джозефина оставалась дома. Как свои пять пальцев она знала реку, что вилась к западу от полей, узкую, всего несколько ярдов от берега до берега, платаны и ивы над головой, их ветви, тянущиеся к воде. Здесь она стирала, охлаждала ноги, ловила форель, сома и окуня. Она знала все изгибы берега, мшистые места и большой камень, под углом торчавший из воды, а под ним расстились темнота и гладь. Она знала поля во все времена года, под паром – бурые, под посевами – зеленые, и кусты табака, когда они вырастали, то поднимались почти до ее плеч, а листья были такие широкие, как ее растопыренные руки.

Она знала большой дом, построенный Генри, бездетным братом Папы Бо, во времена, когда штат Вирджиния казался райским уголком, который сама природа одарила всеми своими богатствами. Бесплодная жена Генри только и заботилась о том, чтобы дом сиял и чтобы в нем было все, что можно купить или построить на табачные доллары ее мужа. Вдоль стен – сплошная веранда, наверху – спальни, многочисленные и просторные, широкие стеклянные окна в гостиной, диван из конского волоса, на котором можно сидеть, потягивая чай из сервиза костяного фарфора с зеленой чернильной меткой на донышке каждой чашки. И библиотека, скрытая в дальней комнате на первом этаже, книги в переплетах из красной и коричневой кожи, с золотыми буквами на корешках. Они называли это место Белл-Крик, и когда-то здесь было хорошо.

Теперь окрашенные белой краской стены пошли зелеными пятнами, с низкой наклонной крыши осыпалась черепица, подоконники раскололись, кирпичный дымоход треснул по верхнему краю. Книги в библиотеке покрылись плесенью, страницы слиплись от сырости, проникавшей сквозь треснувшее боковое окно, которое так и не починили. Ночью Джозефина слышала, как под полами и за тонкими деревянными стенами чердака копошились и скреблись мыши, белки и крысы. Джозефина спала на тонком тюфяке на полу, крыша была покатою и низкой, и летними ночами здесь было так жарко, что она лежала, распластавшись, стараясь, чтобы части ее тела не соприкасались, и собственные ноги казались ей чужими.

Джозефина повернула за угол дома и замедлила шаг при виде Лотти. Она стояла у клумбы, по колено в земле, полола сорняки и рвала пурпурные вероники и розовые центифолии, чтобы поставить на стол Миссис. По всему периметру дома, вдоль спуска к реке и с восточной стороны, по дороге к полям, росли цветы: клематисы, клайтонии, ирисы, лиловые лаконосы, золотарник. Когда-то клумбы были разбиты в строгом порядке, но потеряли форму от времени и заброшенности. Цветы, правда, от этого хуже не стали. Они буйно цвели, заполняя газоны,

распространяя пыльцу даже на дорогу, где каждую весну за протоптанной грунтовой тропой и запертыми передними воротами расцветали незаконно проникшие туда розы.

Лотти стояла, нагнувшись, ее локти двигались, как рычаги; сорняки она кидала в кучу за спину, цветы аккуратно складывала в стопку. За тесемки ее фартука было заткнуто несколько колокольчиков, любимых цветов Уинтона. Лотти везде прихватывала какую-нибудь мелочь: хвостик бекона из копильни, яйцо из-под курицы, швейную иглку, конфетку; хотя она делала это почти открыто, ее ни разу не поймали.

– Доброе утро, Лотти, – сказала Джозефина. Она надеялась, что ее голос прозвучит ровно, но он все же сорвался: в ней еще эхом отдавалась пощечина Мистера. Лотти подняла голову: седые волосы подвязаны какой-то темной тряпицей, а кожа блестит от пота. Одинокaя горизонтальная морщина беспокойства пересекала ее лоб, как будто когда-то давно там лежал топор.

– Что? Дитя, что стряслось? У тебя лицо, будто ты призрак увидела. – Лотти верила, что беспокойные мертвецы Белл-Крика живут среди приречных ив, где скапливается утренний туман. Папа Бо, сынишка Лотти Хэп, все умершие дети Миссис и даже мать Мистера и его четыре сестры, хотя они похоронены в Луизиане. Лотти видела их там как-то летней ночью, вернее, сказала она, перед самым рассветом, они там танцевали, смеялись и плакали среди ветвей, которые, словно волосы белой женщины, свисали к воде.

Лотти выпустила из рук цветы и подошла к Джозефине. Подол юбки вымок в траве; Лотти увидела след от пощечины Мистера, и ее взгляд застыл. Обхватив руками лицо Джозефины, Лотти повернула его к себе и положила длинный палец на болезненное место.

– Ох, девонька, – сказала она. – Нужно ромашку приложить. Или что-нибудь холодненькое.

– Ничего, – сказала Джозефина, хотя кожу саднило, и почувствовала, что вот-вот заплачется. – Лотти, ничего страшного. Просто мелочь.

Но она не отстранилась. Прохладная, мокрая от росы рука Лотти успокаивала ее. Джозефина прислонилась к теплому, крепкому телу Лотти и снова почувствовала себя ребенком в ночной хижине, когда Лотти и все остальные наконец возвращались с полей, и все дневные горести спадали с Джозефины и таяли в податливом теле Лотти, к которому она прижималась: в животе, ключицах, мускулистых икрах. Тогда, как и сейчас, Лотти была достаточно крепкой и мягкой, чтобы вместить все страдания Джозефины.

Лотти позволила Джозефине прижаться к ней, отстранила ее лицо и смирila пристальным взглядом.

– Ну, тогда ладно. Ничего страшного, раз так сказала.

– Ничего. – Джозефина быстро покачала головой, словно стряхивая воду с волос. Покосившись на небо, она повернулась к Лотти. – Я видела внизу Натана, – сказала она. – Он, похоже, еле стоит.

– Да, ему пришлось сколько-то пролежать, так он сказал. Все из-за пяток. Не мог ничего делать, ни стоять, ни ходить. Слишком глубокие порезы у него, вот как он сказал.

Мистер нанял Натана у мистера Лоудена, соседа в шести милях к западу, только для сбора урожая, только чтобы надзирать за остальными. Натан уже дважды убежал, его дважды ловили и возвращали мистеру Лоудену, для чьего терпения это было немалым испытанием. Мистер нанял его задешево – из-за побегов и еще потому, что из-за порезанных пяток Натан все делал медленно. В Белл-Крике он был новичком, Джозефина еще ни разу не разговаривала с ним и поэтому не спросила, куда он направлялся, когда убежал.

– А он какой? – спросила Джозефина.

Лотти помолчала, наклонив голову.

– Он неплохой. Вроде довольно славный. Имеет голову на плечах.

– А-а... По мне, чем-то похож на Луиса. Что-то в осанке, в том, как он стоит...

Луис был продан три года назад, и впервые с тех пор Джозефина заговорила о нем. Она сама удивилась, что голос у нее не задрожал, а на глаза не навернулись слезы. Луис. Это имя тяжело повисло между ними, как звук надежды или трагедии, они сами не знали, чего именно. Он далеко, далеко.

– На Луиса? Нет, на Луиса ничуть не похож, – сказала Лотти, нахмурившись и слегка покачав головой, как будто это решало дело. – Джозефина, а на что тебе Натан?

– Да так, поздороваться хотела. – Опустив глаза, Джозефина отошла в сторону, от босых ступней на земле остались два отпечатка в форме двоек. Раньше она никогда не лгала Лотти, и новое ощущение ей не понравилось: в животе екнуло, ноги задрожали. Сегодня вечером Джозефина попросит Натана рассказать, как пробраться на север, сегодня же вечером она убежит. Бежать. Слово все еще отдавалось в ней, а теперь зазвучало по-новому. Может быть, и Лотти пойдет с ней? Лотти и Уинтон неколебимо верили в спасение, которого они достигнут, их вера будет истинной, а путь – праведным. Лотти во всем искала признаки искупления, вот, например, двухголовая лягушка по имени Отис, которую она нашла у реки прошлым летом, или ночь, когда небо наполнилось падающими огнями, и они сияли так ярко, что все в доме и в хижинах проснулись и выскочили на лужайку перед домом, даже Мистер и Миссис Лу, все стояли рядом, широко раскрытыми глазами глядя в пылающее небо. Это значит, что Иисус скоро придет, говорила Лотти. Она ждала Его. «Нечего больше ждать, – хотела сказать Джозефина. – Пойдем со мной, Лотти, ты и Уинтон должны пойти со мной. Натан укажет нам дорогу».

Но здесь, посреди цветов, когда воздух был пропитан их ароматом, а прохладная рука Лотти все еще лежала на щеке Джозефины, мысль о побеге казалась слишком смутной, чтобы вытащить ее на свет божий, на солнце, на утро, со всеми делами, которые нужно переделать, с часами, которые нужно пережить. Просто мысль, неопределенная и не оформленная как нечто осуществимое; ведь Джозефина знала, как легко сбиться с пути в своих намерениях, как путь, ведущий прочь, может обратиться вспять и вернуть в отправную точку.

Несколько лет назад Джозефина уже пыталась бежать посреди ночи. Она тогда была совсем ребенком, двенадцати, может быть, тринадцати лет, не понимала опасности, не знала ни правильного пути на север, ни того, как тени могут разыгрывать шутки на дороге. Возвращение в Белл-Крик было долгим. На этот раз она не повернет назад. На этот раз она продолжит путь – через великую реку Огайо вплоть до Филадельфии, Бостона или Нью-Йорка, северных городов, которые жили в сознании Джозефины так же, как призраки – в сознании Лотти.

– Ну, мне пора, – сказала Джозефина. – Встретимся вечером у хижин, Лотти. Там и поговорим.

– Давай, приходи. – Лотти медленно моргнула, уголки ее рта смягчились, Джозефина прекрасно знала этот ее взгляд сдержанной нежности, привязанности, которую Лотти всегда прятала подальше, чтобы не дать ей зайти слишком далеко. Приглушенная, скрытая любовь. Лотти стала такой с тех пор, как умер Хэп, ее последний сын, ему было всего двенадцать лет, он гордился, как павлин, своим умением играть на скрипке, и умер в считанные минуты, Лотти согнулась над его телом, все еще теплым, губы и язык Хэпа раздулись, а на руке, там, куда укусила пчела, была опухоль величиной с двадцатицентовик.

Джозефина спускалась по низкому склону к огороду с его кривыми грядками и зарослями малины и ежевики, где все кусты срослись и спутались, а ягоды доставались в основном птицам, потому что росли слишком высоко и слишком глубоко, чтобы Джозефина могла собрать все. Джозефина сунула руки в ежевичник и стала обрывать ягоды с белых волокнистых плодоножек. Вчера вечером Миссис Лу попросила на завтрак ежевики. Шипы кололись, но Джозефина продолжала рвать ягоды. Сегодня такой же день, как все другие. Собирай, что велено – ежевику на завтрак, зелень для Мистера на ужин. Делай то, что нужно. Как и в любой другой день.

Джозефина посмотрела на запад: маленькие фигурки в поле, как рваные клочки темноты, движутся на фоне табачной зелени. Один Джексон стоит неподвижно, на поясе – плеть из воловьей кожи. Даже сейчас, когда их так мало осталось в Белл-Крике, он мог хлестнуть, не колеблясь, за медленный шаг. Он может заставить съесть табачного червя, говорила Лотти, засунет тебе толстую извивающуюся рогатую гусеницу прямо в глотку. Его жена Калла была толстой и гневливой, много лет назад Папа Бо купил ее у странствующего торговца. Она никогда не вспоминала своих детей, ни тех, что остались где-то далеко, ни тех, которых она потеряла уже в Белл-Крике. В обоих была затаенная жестокость. Мистер был слишком мягок, чтобы устраивать порки, а вот Джексон – сколько угодно.

Колючка глубоко вонзилась в кожу Джозефины, и она сунула кончик пальца в рот. В первый раз, когда она убежала, страх казался живым существом огромного роста, он шел рядом с ней по дороге, и она пыталась, но никак не могла выбраться из его тени. Теперь страх казался другим; он пригнулся, притаился и нашептывал что-то из кустов и высокой травы. Он был мельче, хитрее, подлее. Жало воловьей кожи. Подвернутая лодыжка, летняя буря. Будет ли небо чистым этой ночью, или разразится гроза? Гончие, винтовки. Она подумала о неровной походке Натана. Ему порезали пятки – топором или длинным лезвием охотничьего ножа, на ноги кто-то сел, или их зажали в тисках вроде тех, в которых строгали доски, или просто связали веревкой, как теленку перед клеймением. Два удара лезвием – и обе пятки будут искалечены, а если порез будет слишком глубоким, рана вообще никогда не заживет, нога распухнет и будет вонять, а то и вовсе отвалится.

Джозефине внезапно стало холодно, ноги показались вязкими и тяжелыми, дыхание в груди перехватило. Трясущимися пальцами она сорвала еще одну ягоду.

День как день. Делай, что положено.

Какой-то звук или тень заставили ее отвлечься, и Джозефина подняла глаза к дому. Занавеска отодвинулась, и в окне показалось бледное лицо Миссис Лу. Глаза уставились как раз туда, где стояла Джозефина. Ни дать ни взять призрак, если бы Джозефина в них верила. Волосы темные и растрепанные, как грозовое облако, глаза – черные провалы. Миссис приложила ладонь к стеклу. Джозефина кивнула ей и пошла обратно в дом.

Подул ветер и толкнул Джозефину в спину, когда она шла по тропинке. Бежать, прошептал он. Бежать.

Лина

Нью-Йорк, 2004

Среда

Бриф еще не готов. Лина Спэрроу, первый год работавшая помощником судебного адвоката, отхлебнула очередной глоток холодного кофе.

Она перевела взгляд с экрана компьютера на цифровые часы, светящиеся красным на стене: 23:58. «Отдашь мне это в среду, – сказал Дэн. – Надеюсь, что, как всегда, сотворишь чудо». Никогда прежде Лина не опаздывала, никогда, а теперь вот застряла на месте, последние две минуты среды бессмысленно уходят, офис превратился в пещеру из бумаг и раскрытых справочников, курсор безжалостно мигает на экране. Краткий бриф: 85 страниц, 124 точные цитаты – результат 92 безумных часов, считай пяти нелепых рабочих дней, документ, который будет передан судье, внесен в официальный протокол суда, разослан по электронной почте десяткам юристов, истцу, ответчику. Но хорош ли он?

Лина сидела, скинув туфли, – она всегда писала босиком – и, растопыривая пальцы ног, спрашивала себя, в чем же проблема. В прошлом году она с отличием окончила юридический факультет и теперь стала первым – то есть главным – адвокатом в фирме «Клифтон и Харп», оказывавшей юридические услуги компаниям из первой сотни рейтинга журнала «Форчун» и головокругительно богатым частным лицам. Лине приходилось слышать, что у людей бывают трудности на работе – нехватка времени, кризисы доверия, выгорание, депрессия, крах, – но за все три года успешного обучения в университете и за девять плодотворных месяцев в «Клифтоне» с ней ничего подобного не случилось. Она потеряла ладонями глаза и несколько раз быстро моргнула. Офис мерцал в холодном флуоресцентном свете: бежевые стены, серый ковер, белые стеллажи из ДСП – такие обычно стоят в студенческих общежитиях, в офисных зданиях, в тюрьмах. На второй день работы в фирме Лина тщательно отобрала личные вещи: на стене – диплом юриста и небольшая картина ее отца; на столе – стеклянный снежный шар с изображением Манхэттена до 11 сентября и фотография ее родителей около 1982 года – оба с длинными волосами и таинственными улыбочками. Каждый предмет ставил печать уникальности на этом ничейном, безликом пространстве. Я здесь, говорил снежный шар. Это мое.

Лина взяла снежный шар и встряхнула его. Над городом разыгрался шквал из искусственных хлопьев, а Лина все спрашивала себя: хорошо ли получилось? Хорош ли бриф? Хорош ли? Часы, не говоря худого слова, показали 23:59. Последний срок прошел, и Лину охватила дрожь, как всегда, когда она каталась на лыжах, или ела сахар прямо из сахарницы, или как в то ледяное утро, когда на нее неслось такси, а она ждала на углу Пятьдесят первой и Пятой и с любопытством и ужасом наблюдала за беспомощной, неподвижной вселенной, пока автомобиль не затормозил в паре дюймов от тротуара. Опыняющий, короткий прилив адреналина. 00:00. Чего она ждала? Разрешения? Вдохновения? В брифе черным по белому написано то, что из него должно следовать: наш клиент хочет денег, а закон гласит: отдайте их ему.

Лина сильно выгнула шею влево и услышала, как хрустнули позвонки. Она снова сунула ноги в туфли на шпильках. Где-то в коридоре нудно, как комар, скулил пылесос ночного уборщика. Да, конечно же, бриф хорош. Разве у нее когда-нибудь получалось плохо? Это ведь право, а в нем она разбирается. И разбирается очень-очень хорошо. Лина напечатала строку подписи, а под ней: «Представил Дэниел Дж. Олифант III, партнер, ТОО „Клифтон и Харп“».

Дежурные лампы горели, компьютеры урчали, а Лина быстрым шагом шла по коридору в кабинет Дэна. Мимо голов секретарш ночной смены, маячивших над рабочими перегородками. Мимо мигающего, неисправного копира, который стоял заброшенным, с открытыми дверцами и откинутыми створками, ожидая, пока не явится какой-нибудь Джо в комбинезоне, кудесник механики. Мимо кофейного уголка с вонючей микроволновкой и гудящей кофемашиной. Мимо ряда полуоткрытых офисных дверей, за которыми – Лина скорее чувствовала это, чем видела, – заправившиеся кофеином партнеры смотрели на экраны компьютеров или слушали в наушниках, что происходит на собраниях, проходящих в Гонконге, Хьюстоне или Дубае.

Возле углового кабинета Лина остановилась.

– Дэн? – Она постучала костяшками пальцев в треснувшую дверь, а потом толкнула ее.

Дэн, словно потерпевший кораблекрушение, цеплялся за остров своего стола, его лицо отсвечивало голубым от экрана компьютера. Позади мерцали окна от пола до потолка, темные, как ночное море. Он печатал. Когда Лина вошла в комнату, он оторвал глаза от экрана, но его пальцы продолжали бегать по клавишам.

Дэн был «партнером-наставником» Лины – так решил отдел кадров в первый же день ее работы в компании. Лина, конечно, слышала о нем. В мире судебных разбирательств Дэн был звездой. Его идеальный послужной список и отсутствие каких-либо явных проблем, связанных с социальной тревожностью, отличали его от полчищ агрессивно успешных коллег по судопроизводству в «Клифтоне» и во всем городе. На столе Дэна стояла фотография двух рыжеволосых розовых детей в серебряной рамке. Лили и Оливер, сообщил ей Дэн. Двойняшки. Лина никогда не видела ни их, ни его жену Марион, чья фотография висела позади стола (загар, бледная улыбка, закрытый купальник).

– Извини, что бриф запоздал, – сказала Лина, взглянув на часы: 00:04. – Я немного увлеклась вопросом корпоративной завесы. Такие красноречивые факты. Но все готово.

Дэн моргнул. Обеими руками он пригладил свои удивительные волосы – рыжие, пружинистые, норовящие встать дыбом. Некоторые коллеги специально культивировали подобные черточки эксцентричности, будто вспышки, расцветивающие Остров Однообразия. Один носил очки в толстой черной пластмассовой оправе, точь-в-точь Киссинджер времен холодной войны. Другой практикующий юрист медитировал в своем кабинете каждый день ровно в четыре часа, и отзвуки его «ом-м» разносились по всему коридору.

– Бриф? – спросил Дэн. – Какой еще бриф?

– Дело о мошенничестве, – осторожно сказала Лина. Дэн часто изображал блаженное неведение. Он производил обманчивое впечатление непринужденного, всегда приветливого парня, который мог бы, например, с улыбкой ремонтировать вашу машину и выставлять честный счет, сидеть у барной стойки и угощать вас пивом. Но Лина видела, как он глотает лекарства от давления (набор разноцветных пилюль, некоторые величиной с витамин для лошадей), видела, как у него на шее пульсирует синяя вена. Однажды Лина слышала, как он кричал на помощника юриста, который скрепил документ не в том углу.

Дэн помолчал и снова заморгал, на этот раз быстрее.

– О, да. Спасибо, Лина. Конечно, я помню – бриф. Ты немного опоздала. – Он посмотрел на часы (золотые, блестящие). – Кинь сюда, на стол. – Он дернул подбородком куда-то влево. – Ну, и что вышло?

Лина колебалась, вспоминая моменты ступора у себя в кабинете, чувство, будто что-то осталось неполным, нераскрытым. Но здесь, стоя на широком ковре Дэна, вдыхая смутный аромат (мята? лакрица?), который, казалось, пронизывал только кабинеты партнеров, она отбросила любой намек на неопределенность.

– Я очень довольна, – сказала она. – Аргументы убедительны. И я уверена, что мы учли все соответствующие прецеденты.

– Не сомневаюсь, что это замечательно, у тебя все выходит отлично. – Дэн помолчал, а потом полупрошепотно произнес: – Знаешь, я, наверное, не должен был говорить тебе раньше других, но мы вчера договорились о мировой.

– Договорились? Вчера? – Лина похолодела от бровей до пальцев ног, как будто что-то теплое и живое покинуло ее тело.

– Клиент работал над сделкой уже несколько недель. Они подписали документы вчера вечером. – Дэн сиял. Суда не будет, стало быть, не будет и возможности проиграть. Идеальный список побед останется невредимым.

– А как же... – Лина обвела ладонью воздух, будто показывая, что она только что закончила, двенадцать комплектов папок с показаниями скопированы и переплетены, свидетели прилетели из Лос-Анджелеса и Лондона, наверху лихорадочно работают тридцать с лишним человек, глаза у всех красные, отпуск отменен, синдром запястного канала налицо. Как же все это?

– Да, скоро пойду наверх и сообщу хорошие новости. Тут еще нужно кое-что доделать. – Дэн рассматривал заусеницу на пальце. – Знаешь, всегда полезно подождать, пока чернила высохнут, прежде чем давать отбой.

– Но наши позиции были такими сильными. – Лина заерзала на месте, засунула за ухо непослушную прядь темных волос. – И во что нам обошлась договоренность?

– Двести пятьдесят, – произнес Дэн, опустив взгляд.

– Двести пятьдесят! Господи, Дэн, это даже не покрывает судебные издержки. Мы ведь были правы. Мы бы выиграли.

Дэн молчал, наклонив голову, и в этом кратком молчании Лина услышала недовольство – не соглашением, а ее вспышкой негодования. Скоропалительно. Непрофессионально. Она слегка кивнула.

– Вероятно, мы бы выиграли, – сказал Дэн. – Но ты же знаешь, процесс – дело тягостное. Отнимает кучу времени. Клиент просто не был на это настроен. Все счастливы, Лина. Все довольны. – Он долго, шумно выдохнул. – Видишь ли, так обычно и бывает. Понимаю, это непросто. Ты увлекаешься делом, хочешь пойти в суд и выиграть. Но помни, музыку заказывает клиент. Мы делаем так, как они просят. Дело не в нас, не в эмоциях и не в какой-то абсолютной... справедливости, или называй как хочешь. В конце концов, речь идет о соблюдении интересов клиента. Чего хочет клиент? Какой итог для него наилучший?

Пока Дэн говорил, взгляд Лины переместился на затемненные стекла его гигантских окон. В них она видела собственное отражение: блузка сверкает белизной, волосы похожи на темный шлем, лицо в тени, черты лица расплываются, тело как будто усечено и укорочено (ясное дело) по сравнению с ней настоящей. И что-то в посадке головы или в том, что изображение казалось парящим, зависшим, оторванным от твердой земли, напомнило Лине фотографию матери, стоявшую дома на прикроватной тумбочке: Грейс Дженни Спэрроу, которая умерла, когда Лине было четыре года. С обнаженными руками и неестественной улыбкой, на ступеньках того дома, где по-прежнему жили Лина с отцом. На этом фото у матери Лины были квадратные плечи, чуть согнутые колени, как будто она остановилась и ждет – чего она ждет? – всегда спрашивала себя Лина. Точно в такой позе сейчас стояла она сама.

Лина выпрямилась, сменила позу, и образ матери исчез. Лина пожала плечами и придала лицу бесстрастное выражение, каким так часто восхищалась у Дэна: спокойная рассудительность, достойное отступление.

– Конечно, интересы клиента. Я рада, что все счастливы. Договорились. Замечательно.

Дэн серьезно кивнул, давая понять, что тема закрыта. Урок преподан, урок усвоен.

– И еще, Лина, – сказал Дэн. – Хорошо, что ты зашла. Хочу кое о чем поговорить. Есть новое дело, которое, думаю, тебе понравится.

Процесс о мошенничестве и многострадаальный бриф мигом вылетели из головы Лины. Конечно, ей нужно новое дело! Она работает по многу часов в день, а платит за них клиент, какой-нибудь клиент, любой клиент. Лина настроила часы в левом нижнем углу своего монитора так, чтобы они отмеряли шестиминутные интервалы, бесшумно резали рабочий день на ярко-желтые клинья. Шесть минут прошло – и на маленьких часах вспыхивает очередной клин. В «Клифтоне» время было самоцелью, важно было не столько выполнить задачу, сколько точно записать число минут, затраченных на ее выполнение. Иногда Лине казалось, что часы поселились в ее мозгу и день за днем пульсируют в крови, отсчитывая минуты. Одна мысль, что она может не уложиться в оплачиваемые минуты, наполняла ее аморфным ужасом.

– Новое дело... звучит прекрасно, – сказала Лина, бестрепетно наблюдая, как Дэн берет ее бриф и бросает в мусорную корзину.

– Это необычное дело, – сказал Дэн. – Мы берем его по заказу крупного клиента. Очень важного клиента. Нужно, чтобы он остался доволен. Он грозит, что поручит дело другой конторе, так что нужно сделать все возможное. О деталях поговорим завтра. Но дело очень серьезное. Историческое. Запутанное. Как ты относишься к рабству?

– К рабству? Я?

– Ну да. Первое, что приходит в голову. Скажи что-нибудь.

– Плохо отношусь. Гражданская война... э-э... ничего хорошего. – Пока она экала и мекала, в голове возник образ Мередит, высоченной блондинки, которая, как говорили, встречалась с аутфилдером команды «Янкиз». На собраниях Мередит сидела прямо, словно аршин проглотила; говорила четко, разумно, с явным интересом и пониманием, о чем бы ни шла речь: о свопах на дефолт по кредитам или о суши. Лина видела в ней своеобразную Немезиду, потустороннее существо, которое будило в ней одновременно стремление конкурировать и раздражение (Мередит часто забывала имя Лины). Конечно, Мередит бы содержательно и умно высказалась о рабстве. Даже в час ночи.

Дэн наклонился вперед вместе со стулом.

– И знаешь, Лина, это дело может оказаться очень важным для тебя. Ты молода, амбициозна. А тут есть возможность показать себя. Масса возможностей. Может, ты этого и не знаешь, но мы здесь довольно рано начинаем готовить сотрудников к партнерству. – Дэн приподнял брови. – И ты как раз тот человек, которого мы хотели бы поддержать.

– К партнерству? – От этих слов в груди у Лины как будто включилась кнопка восторга. – Я не подведу тебя.

– Вот и прекрасно. Завтра я поменяю твой рабочий план. Будешь заниматься новым делом. А теперь иди домой! – Дэн посмотрел на нее и улыбнулся обаятельно, как Санта-Клаус.

Автомобиль, принадлежащий фирме, довез Лину до Бруклина. Это был бесшумный серебристый «лексус», быстрый и эффективный перевозчик по длинным и запутанным дорогам. Тротуары в Мидтауне были безлюдны, улицы заполнены свободными такси. До Лины вдруг дошло, что сейчас глухая ночь. Даже здесь, в городе, который никогда не спит, большинство людей уже спят. В юридической фирме время шло примерно так же, как в казино, только вместо вечного сумеречного часа коктейлей здесь стоял вечный неоновый-яркий день. Разгар рабочего дня всю ночь напролет.

Машина вылетела на Бруклинский мост: река внизу в точности как небо наверху, мерцающие созвездия лодок и буев, а Лина посередине, плавает между слоями света. Водитель был из постоянных – крупный русский с бритой головой и мясистыми пальцами. Лина смутно помнила его имя – Игорь, до эмиграции на Запад он был астрофизиком. Игорь ехал уверенно, не слишком быстро, и Лина стала успокаиваться в плюшевом нутре заднего сиденья: напряжение дня отпускало ее постепенно, отрезками, измеряемыми расстоянием, пройденным до дома.

Лина и ее отец, художник Оскар Спэрроу, жили на Парк-Слоуп, в доме из бурого камня – такой дом был мечтой средней нью-йоркской семьи, живущей на две зарплаты. Четыре этажа,

крутой спуск, позади дома – маленький, заросший сорняками садик. В доме был один работающий (хотя дымящий даже после чистки) камин, две кухни (на первом и четвертом этажах), три художественные студии (на первом, втором и четвертом), одна гардеробная (Оскара), одна ванна на лапах (Линина). На заднем дворе, словно мачта, высится старинный красный дуб, а на переднем, на квадратном пятачке грунта, вырезанном посреди асфальта, – липы, два дерева примерно одной высоты с домом. В детстве Лина часто представляла себе, как корни деревьев переплетаются под домом, и они с Оскаром будто качаются в живой плетеной колыбели. Когда дул сильный ветер, деревья скрипели и царапали ветвями окна, Лина представляла, будто весь дом раскачивается в люльке из корней, и это движение успокаивало ее, как колыбельная.

Оскар купил этот дом несколько десятков лет назад, когда Парк-Слоуп был, по преимуществу, прибежищем для наркодилеров и нищих леваков-оптимистов. Все детство и юность Лины отец, казалось, был близок к финансовому краху, выбиваясь из сил, чтобы выплатить ипотеку. Очевидным выходом, который никогда не обсуждался, было бы сдать в аренду спальню, часть студийного пространства, а может быть, целиком два верхних этажа, из которых получилась бы просторная отдельная квартира. Но этого они не сделали. Оскар как-то выкручивался – продажей картин, преподаванием, столярными работами. Лина в четырнадцать лет начала подрабатывать официанткой – это был ее вклад в то, чтобы телефон в доме не отключали, а в пятнадцать лет она взяла на себя управление семейными финансами, тщетно пытаясь сдерживать Оскара в расходах на краски, холст, кисти, уголь и всяческие диковины (пыльные чучела животных, любительская мозаика), которые он таскал домой с блошиных рынков и распродаж. Лина беспощадно допрашивала Оскара о стоимости этих покупок, после чего в течение нескольких дней готовила исключительно дешевые бобы и рис, но никогда не заговаривала о возможной сдаче комнат. Лина провела здесь всю свою жизнь, пока училась в начальной и средней школе, а потом на юридическом факультете Нью-Йоркского университета. Она тоже хотела, чтобы дом принадлежал только им. Мысль о том, чтобы разделить его с жильцами, была невыносима. Именно здесь когда-то спала, готовила, рисовала, дышала ее мать, и воспоминания Лины о ней, казалось, были привязаны к физическому пространству. Изгиб стены, решетка света, брошенного солнцем на голый пол, резкий стук захлопнувшегося кухонного ящика – все это вызывало вспышки воспоминаний о матери и раннем детстве, которое, казалось, тонуло в масле, мягком, зыбком, милом и ароматном.

У Лины всегда была наготове россыпь таких вспышек: темные волосы, спадающие на бледную спину, как занавес или ширма. Запах перца и сахара. Тихий, тайный смешок. Песня без внятных слов и узнаваемой мелодии, просто гудящая серия нот. Ла-ла-ди-да, та-там-та-рам. И всепроникающее чувство довольства от того, что тебя любят, за тобой смотрят, и свет, играющий на желтой стене, и игрушечный паровозик, зажатый в пухлом кулачке. Была ли это настоящая память? Или память о памяти? Или то, о чем Лина хотела помнить?

Она вошла в тяжелую парадную дверь, прошла холодный, выложенный плиткой коридор, ведущий к высоким двойным дверям, каждая из которых была украшена узкой стеклянной панелью с вензелями и цветами. Лина включила торшер, и гостиную залил мягкий свет. Над длинным диваном из потрескавшейся черной кожи висел портрет шестилетней Лины работы Оскара: яркие акриловые краски, косички, удивленные глаза, в руках голенастая зеленая лягушка – Оскар всегда держал несколько таких в нижней ванной. Рядом висела еще одна картина, поменьше: написанный маслом портрет темноволосой молодой женщины с глазами цвета мха: она стояла перед мольбертом с кистью в руке, вполоборота к зрителю, без улыбки, но с непринужденностью, сквозящей во всех ее чертах. Это был портрет Грейс, матери Лины, написанный за год до рождения дочери.

– Каролина-Сельдерина, ты пришла? – крикнул Оскар, назвав ее своим любимым прозвищем, которое Лина запретила произносить в пределах слышимости кого бы то ни было, кроме нее самой. Но ей втайне нравилось, что он звал ее полным именем – Каролина. Никому

другому она этого не позволяла, прежде всего, потому, что его испанское звучание (Каролина, не Кэролайн) всегда вызывало вопросы о ее происхождении, а что бы она ответила? Откуда взялось это имя? Она понятия не имела. Его выбрала мама – вот все, что Оскар мог ей сказать.

Оскар появился в коридоре, волосы взъерошены, на щеке – мазок красной краски. Поздний час никак не сказался на отце, хотя Лина знала, что он был в студии с семи часов утра, работая над картинами для новой выставки. Он двинулся к дочери – шесть футов живого веса – и стиснул ее в крепком медвежьем объятии, как делал всегда. Физическая сила была частью его харизмы – он был харизматичен, Лине часто говорили об этом, – но в его больших ясных голубых глазах тоже было что-то особенное, они лучились интересом, который согревал всех окружающих – друзей, коллег, критиков, женщин. У Оскара были выющиеся темные волосы, которые теперь, начав редеть, образовали мысок на лбу, той же формы, что волнистая темная борода. Недавно ему прописали очки, бифокальные, с пластмассовой, под черепаху, полуправой, но он не любил их носить, считая, что они ему не идут и подчеркивают возраст.

– Ох, – сказала Лина. Очки Оскара, свисавшие с шеи на черном шнурке, вдавились Лине в грудь. – Осторожней. Я чуть не сломала твои очки.

– Вот была бы жалость, – сказал Оскар.

Лина скинула туфли на трехдюймовых шпильках, которые постоянно носила в офисе, и с радостью и облегчением встала ступнями на прохладные половицы. Она пошла на кухню. Оскар, напевая под нос, двинулся за ней.

– Каролина, можешь мне помочь? – сказал он, держа руку на затылке. – У меня тут... – Он повернулся и приподнял клочок волос, слипшихся от краски.

– Неужели опять? – сказала Лина.

– Что, плохо дело?

Лина оценила ущерб.

– Не так плохо, как в прошлый раз. Думаю, обойдемся малой кровью.

Вынув из бокового ящика ножницы, она срезала засыхающую, хотя все еще липкую краску, стараясь захватить как можно меньше волос.

– Минимальные потери, – сказала она, проводя рукой по отцовскому затылку. – Так ты ел? Только не говори, что ждал меня.

– Не ждал. Я сварил пасту. Немного переварил, но получилось неплохо.

– Из твердых сортов пшеницы?

– Да.

– А зелень?

– Да. Шпинат. У меня отличное здоровье. Глянь, какой живот. – Он похлопал себя по животу, который едва-едва начал выпирать, как у всех в конце среднего возраста. – Я же здоров, как бык.

Их трехлапый кот Душка (уменьшительное от Дюшан) беззвучно скользнул между ногами Лины. Душка давно потерял правую переднюю лапу – ее пришлось ампутировать после очередной ночной кошачьей тайной вылазки, в которой лапу парализовало, и она стала бесчувственной и бесполезной. Но кот и на трех лапах передвигался с грацией, не утратив этого существенного атрибута кошачьих движений.

Лина упала на старое мягкое кресло с обивкой буйной расцветки, одно из четырех разномастных по бокам стола. Кухня, просторная и обшарпанная, была любимой комнатой Лины. На стене рядом с холодильником висел постоянно сменяющийся набор рисунков Оскара, рядом – подробные списки и таблицы, в которых Лина каждый месяц расписывала покупку продуктов, оплату счетов, встречи Оскара и свои командировки.

– Ну, как прошел день? – спросила Лина. Душка мурлыкал, как маленький моторчик счастья, толкаясь у ног Лины в ожидании, что его почешут, и она потянулась к его любимому местечку – мягкому треугольничку шерсти между ушами.

– Рад доложить, что прекрасно. – Оскар сиял. – Думаю, я готов.

– Готов? – Лина выпрямилась, и Душка отошел от нее. Оскар почти два года упорно работал над новыми картинами, масштабными, с использованием новых техник. Никто еще не видел ни кусочка; никто даже точно не знал, что он рисует. Натали, агент Оскара, в последние недели была частым гостем, взволнованная и прелестная в своих винтажных платьях и теннисных туфлях, она покидала дом с легким разочарованием. Натали говорила, что слухи множатся.

В течение почти всей жизни Лины Оскар упрямо отказывался следовать моде: писал деловитые многофигурные полотна (не иронические, аполитичные, не минималистские и не максималистские), не посещал нужные клубы и не заводил нужных друзей. Но пока Лина училась на юридическом, то ли ветер сменился, то ли планеты встали в линию, а может быть, изменилась тенденция или улыбнулась удача. Теперь менеджеры хедж-фондов и стареющие рок-звезды лично встречались с Натали и, задрав головы и приложив палец к подбородку, разглядывали те самые полотна, которые, как знала Лина, когда-то шаткими стопками громоздились в прачечной в подвале. Какое-то время Оскар беспокоился по поводу художественной ценности, массового спроса и работы на продажу. Но это длилось недолго. Он сменил галерею: вместо лояльного, консервативного Ричарда в центре города стал выставляться у гламурной и проницательной Натали в Челси. Она велела ему бросить преподавание на полставки в городском колледже и сосредоточиться на создании большего количества картин, которые она могла бы продать. Оскар посоветовался с финансистом. Отремонтировал студию на втором этаже. Купил пару зеленых кожаных туфель за 600 долларов, которые не носил, а держал на кухонном столе и бросал в них мелочь.

– Значит, можно посмотреть новые картины? – Лина тоже улыбнулась, заразившись его волнением.

Но улыбка Оскара исчезла. Он поколебался, потом тревожно заморгал.

– Каролина, я рисовал твою мать.

Лина ответила не сразу. Слова Оскара изменили атмосферу в комнате. После смерти Грейс он не рисовал ее, не говорил о ней и, насколько Лина понимала, не думал о ней. Теперь его признание подействовало на нее расхолаживающе: удивление остыло, чувства притупились. Внезапно она поняла, как устала за день. 13,7 рабочего часа, бесполезное задание.

– Это здорово, – сказала она наконец, но только потому, что Оскар смотрел на нее, и она не могла думать ни о чем другом.

– Я уже несколько месяцев хотел поговорить с тобой об этом. По правде говоря, я трусил, как мальчишка. Не хочу тебя расстраивать.

– А почему я должна расстраиваться? – Лина посмотрела на него: его темные брови, теперь скорее седые, чем темные, сдвинулись, веселое красивое лицо стало серьезным и обеспокоенным.

– Нет, папа, правда. Почему? – Смерть Грейс была внезапной – автокатастрофа, как сказал ей Оскар, скользкая дорога, темнота, – а Лина была совсем маленькой. Она не помнила ни страданий, ни последних прощаний в больнице, ни слез, ни больничных запахов, ни лекарств, ни грязных простыней. Смерть матери не сказалась на ней, и уж кто-кто, а Оскар должен знать это.

– Просто мы никогда не говорили о ней, и некоторые из этих картин могут... ну, не знаю... удивить тебя.

– Мы никогда не говорили о ней, потому что ты этого не хочешь, не я. Верно? – Когда Лине было шестнадцать, они в последний раз поссорились из-за Грейс. Лина тогда снова спросила о семье матери, а Оскар снова отказался рассказывать. «Я не могу говорить о Грейс, не могу, и все тут», – сказал он. Лина кричала и буйствовала, швырнула о стену гостиной горшок с цветком, так что осколки керамики и земля разлетелись по всей комнате, а потом убежала

в свою спальню и плакала там, ненавидя Оскара за то, что из-за него ей самой приходилось сочинять истории о матери. «Грейс родом из Флориды, Мексики, Монтаны, Перу. Каролиной звали мою бабушку, тетю, старую подругу. Я помню ее запах, ее смех, сказку на ночь. Я ничего не помню вообще». После того вечера Лина со злостью из-за своего поражения, смешанной с тайным облегчением, решила, что больше никогда не спросит Оскара о Грейс. У нее есть дом, полный ее собственных воспоминаний, несколько фотографий, несколько картин матери; ей не нужно больше ничего от Оскара. Лина не хотела все время злиться на отца. Она не хотела думать, что он что-то скрывал от нее.

– Я знаю, что это я, но прошло двадцать лет, – сказал Оскар. – Это чертовски много. За двадцать лет даже я могу измениться. – Он снова улыбался ей, но улыбка казалась вымученной – призыв к легкости, который Лина встретила с сомнением, с плотно сжатыми губами. В то время как воспоминания Лины о самой Грейс мерцали, как неясные сны, недели и месяцы после смерти матери горели в ее сознании ярким воспоминанием. Гудение телевизора, жир от подгоревшей пищи на языке, вереница нянь-подростков – безликая череда конских хвостов и зубных пластин – и ее отец всегда здесь, всегда дома, сторбленный и поникший, тихий, бледный. Лина играла, смотрела телевизор, бегала по всем комнатам; не было никаких правил, никакого распорядка. Со временем печаль Лины притупилась, она научилась осторожно обходить участки мозга, где поселилась смерть матери, и вскоре уход от мыслей о ней стал привычкой, бездумной и автоматической. Но Оскар, похоже, не обладал этим инструментом самосохранения. Это беспокоило Лину еще в детстве. В пассивности Оскара ей чудилась опасность: он постоянно сидел дома, не допуская к себе друзей. Что, если его скорбь не пройдет? Если он не станет самим собой? Что, если она останется одна?

– Ты уверен, что это хорошая идея? – спросила Лина.

– Да, рисовать маму – хорошая идея. Лучшая за последние годы. За десятилетия, – сказал Оскар, и Лина не услышала никакого напряжения в его голосе. – Со мной все в порядке.

– Точно?

– Абсолютно. Боже, да не волнуйся! Ты слишком волнуешься. – Отец схватил ее руку и сжал.

– И ты покажешь мне картины? Сейчас? – Лина взглянула на часы.

– Я знаю, что уже поздно, но днем ты так занята, судебный адвокат Каролина Спэрроу. Натали с меня не слезает. Я сказал ей, что ты должна увидеть их первой. Если они тебе понравятся, если скажешь, что они хороши, я готов их выставить.

– Ну, не станем же мы разочаровывать Натали, – с усталым сарказмом сказала Лина. Она понимала, что в этих словах звучит раздражение, но не попыталась сменить тон. Лине не очень нравилась Натали, точнее, ей не нравилось то, как Натали себя преподносила: тщательно растрепанные волосы, продуманно причудливая одежда, вечно кладет руку тебе на плечо и говорит слишком тихо, так, чтобы к ней наклонялись, иначе не услышать. А в особенности Лине не нравилась роль, которую Натали теперь играла в жизни Оскара: страж ворот во внешний мир, деловой партнер, собеседник в разговорах об искусстве, отчасти даже психотерапевт и лучший друг. Все это Лина поняла из обрывков случайно подслушанных разговоров и нескольких случаев, когда она долго находилась в компании Натали. Лина встала и поправила юбку. Она попыталась скрыть усталость широкой улыбкой.

Вслед за отцом Лина поднялась в студию на втором этаже. Оскар щелкнул выключателем, и комната внезапно и ярко осветилась. Большие холсты были прислонены к белым стенам, низкие табуретки расположились у раскладного стола на помосте, как терпеливые дети. В комнате стоял терпкий, пряный запах масляной краски и сухой гипсовой пыли.

– Ну, вот первая. – Оскар встал рядом с холстом, высотой доходившим ему до плеч. Яркосиняя полоса шла через весь холст, рассекая хаотичный красочный фон. В глубине синевы, казалось, плавало тело женщины, маленькой, темноволосой, безликой, тонушей. Лина слу-

шала, как Оскар описывал устройства, которые он использовал, технику скрининга и коллажа из старых нью-йоркских таблоидов. Это был классический Оскар Спэрроу – каждый дюйм холста насыщен слоями красок и коллажа. Лине нравилось, что работы Оскара никогда не были простыми, что зритель должен был пристально рассмотреть каждый фрагмент, прежде чем воспринять целое. Картины Оскара чем-то напоминали доказательства. У каждой картины был смысл, но ее завершенность могла быть оправдана только тщательным накапливанием фактов, а все факты были спрятаны в холсте: мазок красного цвета, маленький зубчатый осколок зеркала, абзац, вырезанный из вчерашней газеты, карандашный набросок собаки. Оскар никогда не отходил от своего замысла. Деконструкция его не интересовала.

Оскар отвернулся от картины, и Лина пошла за ним в глубину студии. Он остановился перед тремя полотнами, прислоненными к стене. Они были проще, с более выраженными цветовыми пятнами, в основном абстрактные, хотя Лине показалось, что на одной из них она видит большой палец величиной с ее собственную голову, а может быть, это вовсе и не палец. Лина ни о чем не спрашивала. А на другой картине что, коленная чашечка? И еще лоб, линия волос над кожей подчеркнута малиновой краской. Казалось, что картины представляли собой исследование тел, или, вернее, одного тела.

– Теперь более предметное, – сказал Оскар, повернулся и снял простыню с огромного холста. Лина посмотрела прямо в глаза матери в возрасте двадцати четырех или двадцати пяти лет, когда сама Лина была совсем маленькой. Это был портрет, голова и туловище занимали весь холст в шесть футов высотой и пять шириной: руки сложены на груди, поза жесткая и формальная, лицо бледное и скорбное, вытянутое почти на грани искажения, но это, несомненно, Грейс: длинные темные волосы разделены пробором слева, губы полные и распухшие, как будто искусанные.

Лина резко вздохнула. Двадцать четыре года. Грейс было двадцать четыре года, когда родилась Лина, сейчас самой Лине столько же. Смешно подумать, что у Лины может быть дочь, муж, дом. Что они у нее есть, а она теряет их, вернее, они теряют ее.

Оскар немного помолчал, глядя на Лину.

– Готова смотреть еще?

– Конечно, – сказала Лина. – Покажи. – Ее голос звучал непринужденно, но сердце билось слишком быстро, с силой толкалось прямо в горло, как бывало иногда, когда она бегала спринты.

Оскар перешел к другому полотну, покрытому простыней. Лина снова встала перед портретом.

– Это все она? – спросила Лина.

– Да.

– И лоб? И коленка? Все ее?

– Ага. Все Грейс. Выставка так и называется: «Портреты Грейс».

Пока Оскар возился с простыней, Лина рассматривала портрет.

Нарисованные глаза, большие и темные, как у Лины. Волосы длиннее, чем у Лины, но, казалось, такие же тяжелые и такого же цвета, почти черного. Лицо Грейс было крупным и сложным, кожа состояла из разноцветных слоев краски и коллажа.

Полоски газет, разрезанные на замысловатые завитки, как будто трепетали на ее горле, словно кружево. Лина наклонилась ближе, но наложенные друг на друга слова было почти невозможно разобрать, одна газетная полоска перекрывала другую, а на них напознала третья. Наконец она разобрала одно слово, напечатанное некрупным, простым шрифтом: «Хватит».

Лина отступила, как будто почувствовала укус. Что она знает о матери? Грейс тоже была художницей, хотя, в отличие от Оскара, не пользовалась успехом. Лина никогда не видела бабушки и дедушки по материнской линии; она не знала, как их звали, где они жили и где родилась Грейс. Лина знала, что Оскар встретил Грейс в баре в Виллидже, что в конце семи-

десятих они жили вместе в Бруклине, поженились в мэрии, купили ветхий особняк на гонорар от первой выставки Оскара. Они занимались искусством, боролись за существование, любили друг друга, родили Лину. А потом обледенелая дорога, авария. Ярким, холодным солнечным днем Оскар развеял прах Грейс в музее Клойстерс, – она любила это место и за художественное собрание, и за потрясающие виды на Гудзон. Лину он с собой не взял: решил, что ребенку при этом делать нечего. Уже взрослой Лина часто жалела, что ее там не было: так бы у нее была хоть память о каком-то физическом акте, отмечающем смерть Грейс. Но Лина помнила только исчезновение, отсутствие, боль.

Взгляд Лины скользил по холстам – «Хватит», малиновая линия, коленная чашечка, фигурка на синем фоне – и открытое, ожидающее лицо Оскара, стоящего перед следующей картиной. Но Лина больше не хотела смотреть. Душка лежал у ног Оскара – это был уже старый кот, его взяли из приюта для животных, когда Лине было десять. Он чистил мордочку подушечками единственной передней лапы.

– Я и не думала, что ты... готов. В смысле, внутренне готов к этому, – сказала Лина.

Лицо Оскара напряглось, и он скрестил руки на груди.

– Это не то чтобы я проснулся однажды, и – бац, все в порядке. Я ведь много лет вообще не хотел думать о ней. Но как-то... ну, не знаю, в последние пару лет все стало по-другому. Мне хотелось вспоминать ее, какой она была в молодости. Я ведь очень любил твою маму. Конечно, я не был идеальным мужем, но я любил ее, поверь.

Лина, наблюдая за Душкой, перебирала собственные воспоминания: завеса темных волос, мелодия без мелодии, перец и сахар.

– И посмотри на себя – ты ведь взрослая! – нервно произнес Оскар в наступившей тишине. – А я практически старик. – Тут он улыбнулся. – Я хотел... кое-что объяснить. Сказать правду. Ты же знаешь, я лучше умею показывать, чем рассказывать. Это для тебя, Каролина. Я хочу показать тебе кое-что о твоей матери. То, о чем мы никогда не говорили. Пора тебе знать.

Лина снова посмотрела на портрет «Хватит», на вытянутое лицо матери. «Как у Эль Греко, – подумала она. – Как один из его экзальтированных бестелесных призраков». Разве не об этом она всегда просила Оскара? «Расскажи мне, – приставала она. – Расскажи о маме». Но теперь ей хотелось только выйти из комнаты. Оскар поймал ее врасплох. Лина уже давно не та порывистая девчонка, которая когда-то швырнула горшок о стену, – теперешняя Лина не любит неожиданностей, ей не нравится это ощущение слабости и шаткости, как будто она стоит на песке, вымываемом из-под нее волной. Ей нужно время, чтобы рассмотреть картины Оскара, проанализировать и продумать реакцию. А сейчас спать. Ей нужно поспать.

– Каролина, я тебя расстроил? – сдавленным голосом спросил отец. – Давай поговорим завтра. Вид у тебя изможденный.

Тон Оскара и его поза – плечи ссутулены, живот слегка выпячен – вызвали у Лины прежнее беспокойство. Да, конечно, Натали нужна выставка. В последние недели шумиха вокруг нее росла, и все публикации касались загадочной темы новых работ Оскара: что за тайны? Что такого делает Оскар Спэрроу? Интервью в прессе, намеки в «Артфоруме» – все это остроумно и загадочно, Оскар с задумчивой улыбкой отклоняет вопросы. Сначала это раздражало Натали, во всяком случае, так она говорила, но даже ей пришлось признать, что в качестве пиар-стратегии это сработало. Но теперь Оскар достиг критической точки. Дата открытия выставки еще не объявлена, а Натали предупредила, что, если тянуть слишком долго, интерес пропадет.

Лина перевела дыхание.

– Я не расстроилась, – сказала она, улыбаясь под пытливым взглядом Оскара. – Картины фантастические. Я очень рада, что ты наконец решился заговорить о маме. – Ей не хотелось лгать ему, но она не знала, как объяснить этот стук сердца в груди. – Просто... у меня был тяжелый день. Завтра я присмотрюсь поближе, но я рада, что ты ее рисуешь.

Плечи Оскара расслабились, губы раздвинулись в широкой улыбке облегчения. Он издал победный клич и повернулся, чтобы обнять дочь.

– Ура! Тогда ладно. Я готов. Завтра звоню Натали. И еще, послушай... – Он разжал объятия и положил руки ей на плечи. – Знаешь, я хочу поговорить с тобой о маме.

– Конечно. Мы поговорим.

– Завтра.

– Завтра у меня много работы.

– Тогда послезавтра. Когда сможешь.

Лина кивнула.

– Спокойной ночи, папа.

– Спокойной ночи, Каролина.

Она наклонилась вперед, подставила щеку для поцелуя, ощутила на лице колючую щеточку его бороды, повернулась и пошла к двери. Ее глаза были прикованы к маленькой точке. За треснувшей дверью вырисовывался темный клинышек – стеклянная ручка со следом большого пальца, испачканного синей краской. Лина потянулась к ручке и открыла дверь. Мимо бело-рыжим вихрем пронесся Душка и заскакал по лестнице, подергивая хвостом.

Лина пошла наверх, в свою спальню; на стене над ступенями висели фотографии, всего восемь штук. Каждая сделана в день рождения Лины – в возрасте от четырех до одиннадцати лет. На каждой она стояла в одной и той же позе: руки по швам, камера нацелена прямо на нее, фигура заполняет всю рамку. На голове – самодельные шапки специально ко дню рождения: с ленточками и бантиками, с большой пластмассовой восьмеркой, с павлиньими перьями, с воздушными шариками.

Лина знала эти фотографии наизусть: в пять и семь лет – с улыбкой, в девять, десять и одиннадцать – серьезная, в четыре – в слезах, в восемь – закрытые глаза и открытый рот. Каждый год Оскар пек торт к ее дню рождения, приглашал друзей, мастерил шапку, ставил Лину у стены, на одном и том же месте, в одной и той же позе – так все годы ее детства. Каждый год ее отец по другую сторону объектива щелкал затвором, останавливая мгновение.

Джозефина

Джозефина прошла через заднюю дверь на кухню и поставила на стол корзину, до половины наполненную ягодами. Пощечина Мистера еще горела на скуле и отдавалась в позвонках, но, посмотревшись в зеркало над умывальником, Джозефина увидела, что отметины на лице не осталось. Она пристально вглядывалась в свое отражение: глаза изменчивого цвета, здесь голубая тень, там зеленая, карие, нет, коричнево-серые, цвета сливались и дробились. «Вечером», – прошептала она. Слово ожило в воздухе, и кухня сразу показалась просторнее, как будто каменный пол опустился ниже, а крыша поднялась к открытому небу.

Она поднялась по ступенькам в комнату Миссис и хлопнула в ладоши перед закрытой дверью спальни.

– Миссис Лу, – позвала Джозефина. – Пора вставать и одеваться. Скоро доктор Викерс приедет, из города приедет.

Мистер несколько месяцев не хотел вызывать врача. «Он просто обдерет нас как липку», – сказал Мистер в прошлом октябре, когда случился первый припадок, когда Миссис Лу вся окостенела и скорчилась на полу спальни. Джозефина такого сроду не видела. У Папы Бо за кафедрой случались приступы оцепенения, но его никогда не трепало с такой демонской силой. Лотти иногда падала на пол, когда молилась, но ее тело оставалось нормальной формы.

– На Миссис что-то накатило, – сказал Джозефине Мистер. – Мы переждем.

Но на Миссис Лу «накатывало» снова и снова, пока тянулись короткие зимние дни с инеем на траве, а потом со снегом на Рождество. Джозефина не помнила такой холодной зимы, выстиранная одежда замерзла на веревке, и Джозефина тащила ее оттаивать в дом, прижимая к себе задубевшие платья и штаны, как партнера по танцам. Ветви ивы тоже замерзли, как будто подметая потрескивающий лед реки хрустальной метлой. Лотти сказала, что от холода люди делаются раздражительными и горады на всякие выходки, а с Миссис, полагала она, играют злые шутки те родившиеся и неродившиеся младенцы, которых та потеряла. Иногда припадок был долгим и тяжелым, и Миссис после этого спала часами, сон был таким каменным, что Джозефина порой пугалась, что она умерла, и подносила к ее губам зеркало, чтобы проверить дыхание. Но иногда Миссис просыпалась по утрам как ни в чем не бывало и начинала говорить своим певучим голосом о цветах, которые нужно сорвать, об одежде, которую нужно починить, и «где та наволочка, которую я просила выстирать», и «к чаю я хочу кукурузный кекс».

А под Новый год Миссис начала забывать названия простых вещей. «Хлеб, принеси мне хлеб», – сказала она Джозефине, указывая на плед, который согревался у огня. А там и другие ошибки повалили густо, как блохи. «Яблоко», сказала она вместо «расческа». «Дверь» вместо «огонь», «коврик» вместо «ложка», «молоко» вместо «стул». Джозефина пыталась как-то истолковать просьбы Миссис, найти закономерность в этом ее новом языке, но ничего не получалось.

Снег растаял, сменившись весенней красной глиной, наступило время посадок. Мистер редко бывал дома, он работал вместе со своими людьми. Миссис качала головой, ведь позорище какое, но все знали, что их слишком мало. После того, как умер Хэп, а Луиса продали, чтобы на выручку купить семена, один только Отис был достаточно молод и силен, чтобы с утра до ночи тянуть плуг с правильной скоростью. Лотти, Уинтон и Тереза со своими скрюченными пальцами и сторбленными спинами работали медленно. Папа Бо продал бы всех троих и на вырученные деньги купил бы одного, зато такого, которого можно было бы гонять от рассвета до заката, но у Мистера такого и в мыслях не было. Он никогда не пытался что-то изменить, прорывался теми силами, которые имел. Миссис называла это слабостью, говорила, что

не замечала за ним такого, пока они не поженились и не поселились под уже обваливавшейся крышей в Белл-Крике.

Наконец, на прошлой неделе, в изнуряюще жаркий день Мистер вернулся с полей на ужин и обнаружил Миссис на полу, Джозефина поддерживала ее голову, чтобы она не ударилась о пол или ножку стола. Он видел, как тело жены дергалось, глаза были пустыми и белыми. Когда припадок закончился и хозяйка хорошенько выпалась, она настояла, чтобы к ней приехал доктор Викерс из Клермонта, по меньшей мере за тридцать миль к югу. Джозефина помнила – казалось, это было давным-давно – твердые мнения Миссис Лу о расцветке занавесок, именах цыплят, прическе Джозефины, некой картине, которую ни в коем случае нельзя вешать в холле, только в гостиной. «Доктор Викерс знал моего папу. Никого другого я к себе не подпущу», – сказала Миссис: на краткий момент к ней вернулось привычное упрямство в мелочах.

Обычно при упоминании папы Миссис Лу Мистер крепко сжимал губы, а его голос становился тихим и напряженным. Но в тот день он только кивнул: «Скажи Отису. Доктор Викерс, Клермонт. Пусть едет быстрее».

А сейчас Джозефина снова позвала через закрытую дверь спальни:

– Миссис Лу, сегодня придет доктор Викерс. Сегодня утром, Миссис.

Изнутри ни звука, ни отклика, ни скрипа половиц под ногами. Джозефина открыла дверь и увидела разобранную постель и закрытые окна. В воздухе висел тягучий запах сна. Но Миссис не было.

Тут Джозефина услышала стук в дальней комнате: по полу тянули что-то тяжелое, мольберт, должно быть.

Студия находилась в передней части дома, в нескольких шагах от спальни Миссис, ее окна выходили на запад, к предгорьям Голубого хребта, к низким холмам с пологими, будто нарисованными крошащимся углем склонами. Джозефина не знала, что было в этой комнате во времена брата Генри, но Миссис Лу и Мистер решили устроить здесь детскую и покрасили стены в бледно-голубой цвет с бордюром из желтых ромашек под потолком. Вещи, когда-то заполнявшие комнату, – кровать из некрашеной сосны, подвесная погремушка из прессованной жести и обрывков ленты, резная деревянная лошадка-качалка – были сожжены много лет назад, одну за другой Мистер побросал их в костер, разведенный на заднем дворе. После этого Миссис Лу назвала комнату своей художественной мастерской, здесь она пыталась заниматься творчеством: писала маслом, рисовала, шила и вышивала. Стены еще оставались голубыми, но краска стекала по штукатурке длинными бледными прожилками и стала похожа на цветные отпечатки больших пальцев.

Джозефина постучала один раз и вошла. Спина Миссис Лу была повернута к двери, поднятая рука застыла перед холстом, натянутым на грубо сколоченный мольберт, который Мистер соорудил из досок старого забора. На Миссис была белая хлопчатобумажная ночная рубашка, которая теперь висела на ней как на вешалке, потрепанный подол скрывал лодыжки, ткань сваливалась с худых плеч. Миссис, вероятно, пыталась причесаться: волосы были забраны в неаккуратный узел на макушке, выбившиеся темные локоны каскадом спадали на плечи и спину.

Грубый стол с обтесанными деревянными ножками был придвинут к восточной стене, столешница завалена обрывками холста, самодельной бумагой, берестой, горшочками из-под джема, в которых торчали старые кисти, и баночками сухих красок, которые Миссис покупала у разносчика каждый сезон, нужны они ей или нет.

Полотна Миссис Лу стояли у северной стены и висели на гвоздях над головой: недописанные натюрморты с яблоками и грушами в деревянной миске; акварели с расплзшимися красками; карандашный рисунок бесформенного пиона в саду; автопортрет Миссис с непропорционально большими карими глазами и губами, раздвинутыми в полуулыбке; небольшие

пейзажи с коротким горизонтом или перспективой, наклоненной таким образом, что у Джозефины при взгляде на них начиналась легкая тошнота.

В дальнем углу были стопкой сложены работы Джозефины. Она рисовала сцены с фермы. Уинтон и Лотти стоят возле своей хижины, Луис в поле, Хэп играет на скрипке, Миссис Лу и Мистер бок о бок в креслах-качалках на крыльце, все написано на обрывках холста, нарисовано на бумаге или на широких листьях кувшинок, Джозефина летом собирала их в ручье, сушила на солнце, а потом расплющивала под прессом для табака. Иногда Миссис разрешала Джозефине рисовать, иногда нет – предпочитала, чтобы та обмахивала ей лицо или читала из Библии. Иногда Джозефина делала набросок предмета, который не удавался Миссис, уголь в ее руке двигался быстро, яблоко или склон холма обретали четкие очертания, и Миссис возвращалась к полотну. Джозефина снова бралась за веер или за книгу, но внутри чувствовала беспокойство и радость от того, что, оказывается, умели ее руки.

– Миссис? – сказала Джозефина. Она вдохнула запах скипидара, смешанного с ароматной пудрой, которой Миссис пользовалась летом, чтобы заглушить запах собственного тела.

Когда Джозефина вошла в комнату, Миссис Лу, не оборачиваясь, сказала холсту:

– Твой хозяин. Твой хозяин знает, что Бог наблюдает за ним, как и я. Он знает, к какому злу ведут пути разврата.

Джозефина привыкла к блуждающим мыслям Миссис. Она начинала о чем-то говорить, но тема обрывалась посреди фразы. О своем детстве она рассказывала так, будто все еще жила с сестрами и братом в большом доме в Миссисипи, и маленькая собачка, которая ест только сомов и персики, по-прежнему хватала ее зубами за подол. Джозефина всегда кивала, независимо от того, были слова Миссис глупыми или мудрыми, злыми или добрыми.

Джозефина кивнула.

– Да, Миссис, – пробормотала она.

Миссис снова начала рисовать углем, который держала в правой руке; Джозефина смотрела, как быстрые, короткие линии складываются в картинку. Ребенок, спящий ребенок, прядь волос на лбу, слегка раздвинутые губы, а рядом еще один, близнец.

– Он прекратил все это много лет назад, – продолжала Миссис. – Бог спас его от него самого, да. Сейчас у него столько забот. Он хороший человек, как и его отец, Папа Бо.

Хороший человек. Папа Бо всегда носил с собой кедровую трость с серебряным наколочником, темным и щербатым от того, что он вечно волочил ее за собой по земле. Ею он тыкал в разные вещи, отстукивал ритм своих проповедей, рисовал фигуры в пыли, а когда у него отнялись ноги, стучал ею по полу рядом с креслом, когда считал, что внимание домашних ненадлежащим образом отвлечено от него на другие предметы. Он мог стукнуть ею работника в поле, но никогда не обрушивал ее на домашних, только один раз – на Мистера, Джозефина это видела. Ее насторожили звуки и вскрик Мистера. Треск дерева, ударившегося о кость плеча, и резкое восклицание Мистера, звук, не содержащий в себе удивления, а только безнадежность и согласие.

– Твой хозяин, он снова пьет спиртное, верно? – Миссис отняла руку от рисунка и повернулась к Джозефине. Зрачки ее больших темных глаз были расширены, взгляд блуждал. На тонком носу и бледных веснушчатых щеках лежал румянец. Джозефина испугалась, что сейчас с Миссис снова сделается припадок. – Верно? – повторила она.

Джозефина молчала. Ей потребовалось время, чтобы сообразить, о чем спрашивает хозяйка, чтобы перестать с тревогой наблюдать за ней, ожидая, что она внезапно задержится, закатив глаза, и вникнуть в смысл ее слов. Мистер пьет?

– Я не знаю, Миссис, на самом деле не знаю, – сказала Джозефина.

– Папа Бо еще когда говорил мне, что Мистер – слабый человек. Когда в детстве в Луизиане он потерял мать и сестер, это стало для него ужасным ударом, так говорил папа. Он ска-

зал мне, что я сильная, что я должна быть сильной за нас обоих. Я и старалась. – Миссис снова повернулась к холсту.

– Да, Миссис.

– Бог смотрит вниз и жалеет его. Он жалеет нас обоих. – Миссис сжала губы. – Что он делает, когда уезжает в город на два, три дня? Ты знаешь, Джозефина?

– Нет, Миссис. Не знаю.

– Я больше не могу помочь ему. И Папы Бо нет. Я боюсь за него. Боюсь за всех нас. – Рука Миссис Лу дрожала, Джозефина увидела, как угольный карандаш заплясал над холстом. – Я простила его. Давно, – сказала Миссис. – Я никогда не говорила об этом, но он знает. Я простила ему то, что он натворил. Мужчина не может отвечать за то, что натворил, когда был пьян. Понимаешь, Джозефина?

– Ну-ка, Миссис, давайте я помогу вам. – И Джозефина шагнула вперед, чтобы забрать уголь, пока он не испачкал рисунок.

– Скажи мне, Джозефина! Ты понимаешь? – Миссис отмахнулась от руки Джозефины.

– Да, Миссис. Конечно.

Джозефина посмотрела в окно на дорогу, по которой проезжал один из парней мистера Стэнмора. Она слышала, как кучер кричит лошадям «но!», и треск бича.

Мистер снова пьет. Воротник платья Джозефины впился в горло, будто чья-то рука сжала ее шею.

Случались дни, темные и быстротечные, они едва держались на краю ее памяти, как черепица, падающая с крыши. В последний раз такое было после смерти Папы Бо и очередного выкидыша Миссис. Мистер не ходит в поле, он все время дома. Его тяжелые, медленные шаги за дверью. Ночью Джозефина слышала скрип половиц и знала, что это он.

По ночам, когда Мистер был в ее комнате, Джозефина смотрела в квадратное окошко в покато́й крыше. Иногда сквозь него сияла полная луна, а иногда его затягивали темные серые облака, и Джозефина пыталась угадать очертания – где начинается этот квадрат неба и кончается оконная рама. Кому она могла рассказать? Рассказать было некому, да и бесполезно.

Потом эти дни миновали, то время закончилось, началось другое, и она больше не думала об этом. Мистер перестал пить, и по узким ступеням на чердак Джозефины больше никто, кроме нее, не поднимался. Она думала об этом не больше, чем о пчеле, которая ужалила ее и упала замертво на землю, оставив жало в ее руке. Джозефина потеряла ранку и пошла дальше.

Джозефина посмотрела на холст, на рисунок Миссис.

– Миссис, – сказала Джозефина, – у второго ребенка левая щека более плоская, чем у первого. – Она указала на ошибку.

Миссис Лу повернулась к рисунку.

– О, Джозефина, подойди и сделай сама, – закричала она и бросила уголь на пол, так что он раскололся надвое. Джозефина подобрала осколки и выбрала тот, что длиннее. Ее плечи расправились, дыхание стало ровным. Твердой рукой она положила тень на лицо второго ребенка, затем сдвинула уголь, чтобы поправить неудачную линию на третьем.

С минуту Миссис смотрела на Джозефину, потом углы ее губ опустились вниз, лицо поплыло.

– Больше ни секунды не выдержу в этой комнате, – сказала Миссис и вышла в холл.

Джозефина, склонив голову набок, посмотрела на картину, начатую Миссис. Большей радости, чем эта, для Джозефины не было. Слабый перечный запах самодельной бумаги, зернистая угольная пыль, которой испачканы ее пальцы, пальцы двигаются быстрее, чем она успевает сообразить, где провести эту линию, наложить тень; изображение, возникающее у нее под руками так быстро, будто оно уже существовало где-то между бумагой и ее мысленным взором, будто жило с ней в одном внутреннем пространстве, в том же интимном мире, который принадлежал ей и только ей.

У Миссис было несколько книг по искусству, которые она хранила в студии на высокой полке. Одна из них называлась «Художественная техника и искусство живописи», и в ней Джозефина увидела портрет мистера Томаса Джефферсона. Он стоял в президентском кабинете, спина прямая, лицо торжественное, а позади него – высокий комод из полированного дерева, поблескивающий в мягком масляном свете картины. У комода было много маленьких и больших ящиков, у каждого ящика изогнутая медная ручка в форме элегантной буквы U с кончиками-щупальцами. Джозефина внимательно изучила эту картину и нашла в ней нечто полезное – это касалось не техники или художественного изображения, а самого комода, высокого хранителя тайн. Именно в эти ящики Джозефина складывала чувства, которые не могла выразить, ярость, в которой можно утонуть, или разочарование, которое может сокрушить. За последние годы она научилась складывать нарастающие эмоции так же, как складывала чистые простыни: с каждым сгибом простыня становилась все меньше и тверже, пока все это обширное, мягкое хлопковое пространство не упаковывалось в аккуратный жесткий квадрат. Плотнo свернутый, сложенный, углы заправлены – просто маленький прочный сверток.

Внутри этих ящиков осталось и горячее дыхание Мистера, сильно пахнущее спиртным, и скрип половиц у ее двери, и хруст его позвонков, когда он нависал над ней. Все упаковано, и Джозефина, покачив головой и моргнув глазом, закрыла этот ящик, после чего сердце забилося в груди медленно и ровно. Она нагнулась к холсту с изображением детей, приблизив к нему лицо так, будто хотела поцеловать шершавую поверхность, и начала рисовать еще одного ребенка, гораздо большего, чем другие, с головой почти вдвое крупнее. Она тщательно очертила губы, спящие глаза, круглый подбородок и идеальные раковины ушей.

Интересно, умершие дети Миссис спали в этой студии, в комнате, которая когда-то предназначалась для них? Джозефина не верила в знаки от призраков, которые во всем искала Лотти. Но все же здесь была какая-то магия, не совсем добрая и не совсем злая. Воздух резкий, это, вероятно, от скипидара, которым Миссис чистила кисти, или от кислотного запаха порошка индиго. Свет слишком яркий и ясный, даже после того, как солнце миновало окна и уходило за дом. Даже когда ночная тьма опускалась на холмы и долину и приглушала все цвета и звуки, комната как будто светилась.

Именно здесь Миссис научила Джозефину читать. Книги, принесенные из библиотеки: Купер, Дюма, Диккенс, По, имена, написанные золотыми буквами, обложки потрескались, страницы в пятнах плесени, но Джозефина прикасалась к ним только чистыми руками, с почтением, смаковала каждое написанное в них слово – каждое было маленькой победой. Письма, составляемые тщательно, снова и снова, после этого бумага сгорала в камине, но несколько тайных страниц Джозефина пронесла под юбками к себе на чердак. «Ни слова Мистеру, – шептала Миссис. – А то попадет нам обоим».

Джозефина оторвалась от холста. «Этот будет последний», подумала она. Последний рисунок, сделанный здесь, в этой комнате. Тут она почувствовала, будто тонет в бездне – это был другой страх, не страх, что ее побег обнаружат, погонятся за ней, поймают и накажут, – нет, это был страх огромного неизведанного мира за запертыми передними воротами, мира, о котором она ничего не знала. На мгновение этот мир заполнил ее голову в виде света и красок, хаоса и шума. Если Натан расскажет ей, куда идти, если она найдет дорогу на север, где она остановится? Что ее удержит на месте?

Мать Джозефины была похоронена под высоким хилым ясенем, который рос на кладбище рабов, за дальними пшеничными полями, к востоку от участка семьи Белл. Джозефина не помнила матери, хотя рылась в памяти, надеясь найти хоть какой-нибудь образ или запах, может быть, песню. Лотти сказала, что ее звали Ребеккой. Когда Папа Бо купил их на аукционе, она несла Джозефину на груди, а потом умерла от лихорадки, которая трепала ее все несколько месяцев после прибытия в Белл-Крик. Невыгодная оказалась сделка. Папа Бо был в ярости. Джозефине было шесть лет, когда Лотти впервые показала ей могилу: простой холмик без над-

писи, только желтые листья ясеня повсюду. Иногда Джозефина приходила туда и садилась на холмик, чтобы услышать в ветре голос матери, но так ни разу и не услышала.

Джозефина положила уголь на мольберт и направилась к стопке своих картин. Не взять ли что-нибудь с собой? Сможет ли она унести туго свернутый холст или засунуть в свой узелок сложенный лист бумаги? Или это глупо, ведь вряд ли ей удастся сохранить их сухими и целыми? Каждая из этих картин вызывала в ней ожидание, надежды на новый день. Пойдет ли Миссис в студию? Будет она благосклонной или вредной? Окажется ли там готовая охра или новый карандаш? Завершение каждой картины, когда Джозефина говорила себе: вот, все кончено, я сделала что могла, – казалось маленькой смертью, и она грустила. Из ее походки исчезала легкость, возвращались беспросветная скука, беспощадная усталость. Пока она не начинала следующую картину. А потом еще одну. Нужно было столько всего нарисовать, а время шло быстро, и дней, когда Миссис разрешала ей рисовать, никогда не хватало, чтобы закончить все сцены, которые появлялись перед глазами.

Джозефина остановилась на одной картине и взяла ее из стопки: портрет Лотти, над которым она работала много дней. Лотти стояла перед хижинкой, в которой жила с Уинтоном, с цветами в руках. Позади нее Джозефина нарисовала море – срисовала с фотографии, которую увидела в одной толстой книге, взятой в библиотеке: «География моря», ее написал француз с длинным и заковыристым именем. Джозефина никогда не видела моря, а в этой книге были чудесные рисунки синих и серых завихрений, сложные графики, точно измеряющие форму и объем волны, карты и слова, которые говорили о море как о часах: все эти винты, рычаги и колесики кажутся загадочными для обычного зрителя, но они работают по определенным принципам, которыми могут овладеть и студенты, и моряки. Но все же, писал француз, в отличие от часов, море – это дикая, природная стихия, и великие непредсказуемые морские страсти в любой момент могут опрокинуть все ожидания знатоков. Именно этого Джозефина желала Лотти, и поэтому изобразила море в самом неожиданном месте – за домиком рабов в округе Шарлотта, в штате Вирджиния, не имеющем выхода к морю. Там бушевал океан, а в нем зрели семена хаоса.

– Джозефина! Джозефина! Где ты? – раздался из спальни громкий и настойчивый голос Миссис Лу. – Джозефина!

Нет, портрет Лотти слишком большой, слишком тяжелый, его не унести. Но вот еще рисунок: Лотти и Уинтон. А еще Луи: его уже нет в Белл-Крике, но в мыслях Джозефины он всегда рядом. А вот молодая Миссис Лу на крыльце: эскиз, сделанный до ее болезни, когда Джозефина была совсем девчонкой и голова у нее шла кругом от изучения грамоты и ощущения краски на кисти. Решившись, Джозефина быстро свернула листы в плотный рулон и затолкала его в рукав платья, но он торчал, упираясь ей в запястье. Она вынула листы и снова положила поверх стопки. Она потом вернется и припрячет их как следует – сунет на дно узелка или прикрепит к изнанке юбки. Потом.

– Джозефина!

– Иду, Миссис! Уже иду.

Джозефина вошла в спальню. Миссис, бледная и настороженная, сидела на высокой кровати. Ночная рубашка испачкана угольной пылью из студии, босые ноги темные от грязи. Джозефина молча протерла ноги, руки и лицо Миссис тканью, смоченной водой из кувшина, подняла ее тонкие руки, чтобы вытереть кислый, острый пот под мышками, и помогла Миссис одеться: набросила на ее стройные бедра нижние юбки, затем платье, продела руки в узкие рукава и застегнула лиф на длинный ряд крючков. Миссис Лу обеими руками приподняла волосы над верхними застежками, и Джозефина со свистом втянула воздух. На шее Миссис, под самой линией волос, торчала красная шишка, кожа на ней была натянута и сходилась в округлую точку, как будто кто-то толкался изнутри. Верхушка была маленькой, размером со смородину, но шишка у основания расширялась и уходила под кожу.

Джозефина отвела глаза, чтобы застегнуть последние крючки, и начала причесывать хозяйку так, как той нравилось: по бокам волосы зачесаны вверх, на затылке – низкий пучок. Руки Джозефины дрожали. Когда появилась эта штука?

– Побыстрее, Джозефина. Доктор Викерс скоро придет, а я даже не одета.

– Да, Миссис. – Джозефина провела гребнем по волосам Миссис, стараясь не слишком сильно дергать и не касаться шишки.

– Доктор Викерс хорошо знал моего папу, – непринужденно сказала Миссис Лу, наклонив голову, чтобы удобнее было причесывать, и, казалось, не замечая растущей в ней отметины болезни, именно это неведение заставило сердце Джозефины сжаться. В этот момент широкая паутина чувств, которые она испытывала к Миссис Лу, превратилась в одну простую нить жалости.

– Да и я знаю доктора Викерса с младенчества. А Роберт его презирает.

Джозефина не отвечала, продолжала расчесывать волосы Миссис, тяжелые и скользкие от грязи. Последние несколько недель Миссис отказывалась мыться. Вода пугает ее, говорила она. Ей казалось, что это живое существо.

– Роберт даже не придет, чтобы встретиться с доктором Викерсом. Говорит, что слишком занят на уборке урожая. Но ты ведь останешься со мной, правда? – Миссис обернулась к Джозефине, порушив незаконченную прическу, и сжала запястья Джозефины своими маленькими, цепкими кулачками. – Останься со мной.

Джозефина кивнула.

– Конечно, Миссис. Я останусь с вами. – Она положила руку на плечо Миссис и нежно сжала тонкие мышцы. – Не беспокойтесь.

Миссис Лу с облегчением повернула голову, и Джозефина закончила прическу, то и дело поглядывая на шишку у Миссис на шее. Мистер ошибся. Ничего на нее не «накатило». Миссис скоро станет хуже, если вообще что-нибудь успеет измениться – Джозефина видела и менее устрашающие раны, приводившие к быстрой и мучительной смерти. Жалость извернулась и нырнула в живот Джозефины. Она потянула волосы вниз, чтобы прикрыть затылок Миссис, и подумала: интересно, какие чудеса сотворит доктор Викерс, чтобы вылечить такую болезнь.

Лина

Четверг

В полированном столе Дэна отражалось все мерцающее пространство маслянистого утреннего света. Дэн выглядел отдохнувшим, на нем были ослепительно-белая рубашка и ярко-красный галстук. Свежевымытые волосы поднимались надо лбом кудрявыми спиралями. У стола спиной к двери сидел какой-то человек. Когда вошла Лина, он не обернулся.

– Доброе утро, Лина. Садись, – сказал Дэн.

Лина села на свободный стул справа от посетителя. За окнами висело солнце, создавая завесу жары, яркого света и неслышимого шума. Книжный стеллаж с полками из орехового дерева и климат-контролем, выполненный по индивидуальному заказу и вмещавший коллекцию старинных книг по праву, вращался с легким гулом.

– Это Гаррисон Холл. Он второй год работает в суде. Вы, ребята, не знакомы?

Лина посмотрела на Холла. Прямой нос, полные губы, чисто выбритые щеки, кожа цвета потускневшей меди. Гаррисон Холл смотрел прямо перед собой, его тело было образцом тщательного ухода, наклон головы идеален. Лина была уверена, что он окончил юридический факультет Йельского университета: это там было принято напускать на себя такой вид непринужденной сосредоточенности. Она отрицательно покачала головой, Гаррисон тоже, даже не взглянув на нее.

– Ладно. Хорошо. – Дэн перевел взгляд с Лины на Гаррисона, затем снова на нее. – У нас тут новый вопрос, который, думаю, может заинтересовать вас обоих. Это не вполне наш профиль, но предложение поступило от серьезного клиента, которому мы хотели бы помочь. И маркетологи считают, что это положительно повлияет на репутацию фирмы. Разнообразие, знаете ли. – Дэн улыбнулся Гаррисону, демонстрируя многочисленные зубы и открывая десны больше, чем обычно. Гаррисон слегка кивнул, как будто уже знал, о чем речь.

– Итак, план таков: мы договорились помочь клиенту, Рону Дрессеру из компании «Дрессер Текнолоджи», по иску о возмещении убытков – исторических убытков. Возможно, вы уже слышали об этом в новостях. Это новая теория права, совершенно революционная. «Дрессер Тек» работает в основном в области нефти и газа, вы, наверное, знаете, инженерное и транспортное обеспечение. Крупные проекты для правительства, нефтехимических компаний и тому подобное. Этот иск – не совсем их профиль, чтобы не сказать большего. – Дэн фыркнул, рассмеялся, взял ручку и начал вращать ее большим и указательным пальцами правой руки. Лина наблюдала, как вертится ручка.

– Иск заключается в том, чтобы рабы, то есть бывшие рабы, потомки рабов, их прапрапраправнуки получили компенсацию от примерно двадцати частных компаний, которые когда-то имели прибыль от рабского труда. Мы вычислили их всех с помощью отдела по конфликтам и пока выбрали вас двоих. Никому об этом не рассказывайте. Поняли? – Дэн сурово наморщил лоб. Лина торжественно кивнула. – Федеральное правительство также будет в числе ответчиков, чтобы максимизировать денежные требования, ну... для рекламы в первую очередь. Будем напирать на теорию несправедливого обогащения, плюс преступления против человечества, чтобы обойти проблему срока давности. Конечно, это притянута за уши, – Дэн нервно, как показалось Лине, засмеялся, – но мистер Дрессер уверен, что овчинка стоит выделки. И мы будем рады помогать ему. Помогать, пока он будет оплачивать всю работу, которую мы для него выполним. – Дэн указал на один из офисных сувениров на столе: хрустальная лошадь в прыжке с гравировкой курсивом «палатино»: «Дрессер Текнолоджи». Бесполезный

корпоративный китч за 5000 долларов. – И я сразу подумал о вас. Гаррисон, насколько я понимаю, некоторые из ваших... э-э... предков были когда-то в какой-то момент в рабстве?

Гаррисон почти незаметно кивнул. Лина не слышала его дыхания.

– А тебе Лина, насколько я знаю, понравилось то дело о предоставлении убежища, которым ты занималась еще студенткой. Так что у тебя есть еще один шанс заняться благотворительностью! – Дэн весело посмотрел на нее, подняв брови чуть ли не к потолку. – Ну, не совсем благотворительностью, конечно. Если нам удастся договориться или даже выиграть, нам заплатят. Но мы не выставаем счета обычным способом, поэтому это выглядит как благотворительность. Нечто подобное, вы же понимаете.

– Но почасовая оплата сохраняется? – спросила Лина.

– Конечно.

– А премиальные? – Это спросил Гаррисон.

– Ясное дело. Я партнер. Вы будете делать всю работу, а я – руководить проектом. Завтра, в восемь утра, мы встретимся с мистером Дрессером, чтобы обсудить конкретные вопросы.

Дэн посмотрел на часы и направился к двери.

– Ну, вот и прекрасно! Вопросы есть?

Лина открыла было рот, чтобы спросить об оплате обедов и такси, но Дэн снова заговорил:

– Да, и еще – у нас сжатые сроки. У «Дрессер Тек» множество постоянных контрактов, связанных с обороной. Они очень заняты. Мистер Дрессер не должен портить отношения с федералами, но, видимо, администрация дала ему зеленый свет, чтобы заниматься этим делом. Настоящая фокус-группа, кроме шуток. Хотят отвлечь внимание от всех этих Абу-Грейбов, оружия массового уничтожения и прочего ля-ля. Но наше дело маленькое. Я не знаю всех подробностей, только то, что нам поручено составить первоначальный иск, написать его и положить на стол Дрессеру через две недели. Понимаю, что срок жесткий, но, – он пожал плечами, – ничего не попишешь. Сделаем! Как есть, так есть. Верно, команда? Ну, отлично. Спасибо, что пришли.

Дэн взял телефон, положил пальцы на кнопки и улыбнулся: свободны.

Лина и Гаррисон вышли в коридор, дверь Дэна закрылась за ними, и Гаррисон повернулся к Лине. Он был высок и тонок, как карандаш. В нем чувствовались внимательность и ум, острый, как мастихин Оскара.

– Ну, привет, Лина. Похоже, нам придется часто встречаться, – с улыбкой сказал Гаррисон и протянул руку.

– Привет. – Лина пожала руку и посмотрела на него, обескураженная его любезностью: в «Клифтоне» не поощрялось непрошеное дружелюбие. Он излучал авторитетность и спокойную уравновешенность, как будто его совершенно не волновало, что о нем могут подумать. Лина прикинула, могла бы она полюбить его или возненавидеть, но, скорее всего, она никогда не узнает его достаточно хорошо, чтобы понять, как к нему относиться.

– Знаешь, «Дрессер Тек» делает кучу всего в Ираке, – низким голосом сказал Гаррисон. – Как «Халлибертон», но втихаря.

– Хм. – Лина не знала этого, хотя и не хотела это признавать.

– Еще Дрессер, кажется, тесно связан с Чейни. Они приятели по гольфу. Или по охотничьему клубу. Рискованное дело, даже при зеленом свете. Судиться с правительством? У него, должно быть, разработана стратегия. Я имею в виду, нельзя же срать там, где ешь, верно?

Лина осторожно кивнула.

– Верно.

– Слушай, нам нужно сходить куда-нибудь пообедать на этой неделе.

Гаррисон сменил заговорщицкий тон на дружелюбно-бодрый.

– Похоже, только мы и будем этим заниматься.

– Обычно я обедаю на рабочем месте, – сказала Лина.

Гаррисон уставился на нее непроницаемым взглядом, и Лина без всякой тревоги подумала, что удачно пресекла его попытки корпоративной трепотни.

– Знаешь ли, тем, кто работает первый год, разрешается выходить из здания в дневное время. Охранники тебя не остановят. Если дашь им на чай, конечно. – Он улыбнулся, и вдруг лицо Лины расслабилось, внутреннее напряжение исчезло, и она ответила улыбкой.

– Пообедать вместе – отличная идея, – сказала Лина. – Спасибо за приглашение.

– Вот и хорошо. Мой секретарь это устроит. – Гаррисон посмотрел на часы. – Елки, мне надо бежать. Видеоконференция с Лондоном в пять. Увидимся позже. – И Гаррисон заскользил прочь по коридору, засунув руки в карманы.

Глядя ему вслед, Лина почувствовала странное воодушевление. Ведь может у нее на работе быть друг? С самого начала работы в «Клифтоне» ее офисная жизнь состояла из оплачиваемых часов, обедов с клиентами и корпоративных мероприятий; нужно было держаться на плаву в конкурентном аквариуме, где она по-собачьи барахталась вместе с другими младшими сотрудниками, настороженно озираясь. Но спокойное дружелюбие Гаррисона не имело со всем этим ничего общего, как будто он разработал свой собственный свод правил выживания в «Клифтоне». Да, пожалуй, он может ей понравиться.

Лина повернулась и двинулась к лифту. Все этажи в «Клифтон и Харп» имели одинаковую планировку. Секретарши, помощники и ассистенты теснились в загончике, расположенном в центре каждого этажа. Адвокаты располагались по периметру здания в квадратных кабинетах с закрытыми дверями и окном от пола до потолка, которое впускало к ним солнце и головокружение. Как комар на лобовом стекле внедорожника – вот как почувствовала себя Лина, впервые войдя в свой кабинет. Ей казалось, что если она слишком близко подойдет к стеклянной стене, то тут же бесшумно вывалится на улицу.

Лина вышла из лифта и пошла по восточному коридору к своему кабинету. Слева от нее гудели, щелкали и что-то пили секретарши. Секретарши были экзотической, непостижимой породой, имевшей пристрастие к эластичным поясам и акриловым ногтям, которыми звонко и мелодично клацали по клавиатуре. Секретарши никогда не задавали вопросов. Они, как могли, расшифровывали каракули адвокатов, сидели на своих эргономичных рабочих местах, отключали все самостоятельные мысли, все личные убеждения и печатали.

Справа в полуоткрытую дверь кабинета Лина мельком увидела головы, склонившиеся над бумагами, или приникшие к мерцающим экранам мониторов, или прижимающие ухом к плечу серую трубку телефона. Тишину нарушало только перешептывание. На стене рядом с каждым кабинетом висела черная пластиковая табличка, на которой незатейливым белым шрифтом сообщалось о жителях каждой конкретной зоны; имена были хорошие и надежные: Хелен, Луиза, Тед, Джеймс, Аманда, Блейк. Бывший молодой человек Лины по имени Ставрос проходил собеседование в «Клифтоне», но на работу его не взяли. В течение нескольких коротких недель это событие казалось загадочным и трагичным, но теперь Лина считала, что все сложилось только к лучшему. Ставрос отправился в Сан-Франциско, где стал работать в небольшой фирме по защите интеллектуальной собственности, и, похоже, там ему было хорошо – по крайней мере, так он сообщал в двух электронных письмах, которые прислал Лине за все время с начала его работы. Ни один из университетских друзей Лины не попал в «Клифтон»; большинство устроилось в другие фирмы в Нью-Йорке, но она редко с ними виделась. Все были суетливы, поглощены делами, сделками, почасовой оплатой. Хотя Лина родилась и выросла в Нью-Йорке, теперь она часто чувствовала себя одиноким новичком в чужом, захватывающем городе, Городе Закона.

Лина вернулась в свой кабинет. Всегда сосредоточенная, Мередит громко говорила о хеджировании иены, ее голос эхом разносился из офиса по всему коридору. Шерри, секретарь Лины, сидела в своей кабинке в пушистом желтом свитере и серьгах в виде крупных колец; она,

похоже, читала газету. Темные волосы Шерри рассыпались по лбу, ушам и спине сложными слоями и локонами; прическа была такой объемной и замысловатой, что скорее голова Шерри казалась витриной для волос, чем волосы – атрибутом головы. Шерри была секретарем еще у пяти адвокатов, все они были старше Лины. Лина никогда не требовала от Шерри многого, просила только отвечать на звонки, когда Лине не хотелось с кем-то разговаривать, да еще иногда вычитывать страницу-другую письма на предмет опечаток (которых Шерри никогда не находила).

– О, Лина, – сказала Шерри.

– Да? – Лина остановилась рядом с кабинкой Шерри.

– Два события. Во-первых, «янки» расстался с Мередит! – Шерри делала вид, что шепчет, прикрывая рот ладонью. – Сегодня, прямо с самого утра! Слышала бы ты, как она ругалась!

Вот вам, пожалуйста: абсолютно счастливая Шерри, радостная и восторженная, карие глаза блестят, щеки пылают. Только в такие моменты, когда смачные служебные сплетни необходимо было срочно распространить, Шерри переставала ощущать скуку и незаинтересованность. Секретарши имели полный доступ к электронной почте адвокатов, на которых они работали, и, казалось, между ними существовал неписанный кодекс обмена информацией: любая интересная тема, личная или профессиональная, разносилась из кабинета в кабинет, с этажа на этаж со скоростью воздушно-капельного тропического вируса. Этика тут была простой и неколебимой: если адвокат настолько глуп, чтобы доверять свою личную жизнь рабочей электронной почте, то он заслуживает того, чтобы все население «Клифтон и Харп» было в курсе его секретов.

Лина выдала свою фирменную реакцию на сплетни: улыбку, которая должна была выражать смесь шока, недовольства и восторга.

– Ого! Быстро, однако!

– Вот именно. Шести месяцев не прошло. – Шерри округлила глаза.

Лина ждала.

– А второе? Ты же сказала, два события?

– О да. – Радость Шерри полиняла. Очень осторожно Шерри поковырялась ногтем в переднем зубе. – Звонил Дэн. Завтра утром у вас встреча с мистером Дрессером. Конференц-зал номер... ой, какой же? Забыла. Позвони в техническую службу, у них есть информация. – Шерри вернулась к своей газете, глубокомысленно наморщив лоб.

Лина, как всегда, чувствовала бессилие перед секретарской непробиваемостью Шерри. А ведь Лина старалась, так старалась! Билеты в кино, благодарственные письма с восклицательными знаками, ванильные латте – что только не появлялось на столе Шерри. Но все старания Лины встречались неизменной равнодушной улыбкой и такой безразличной апатией, что казалось, будто эта девица сделана из стекла.

Лина на мгновение задержалась и, вдохновленная любезностью Гаррисона Холла, решилась испробовать новую стратегию. Сейчас Лина пригласит Шерри на ланч. Они поговорят, вместе поедят, их отношения расцветут, и Шерри больше никогда не будет переадресовывать телефонные звонки Лины на голосовую почту, не будет пропускать крайний срок экспресс-доставки и забывать номер конференц-зала. Но, прежде чем Лина открыла рот, телефон Шерри мигнул красным, и она взяла трубку.

– Кабинет Мередит Стюарт, – веско сказала она и принялась записывать длинное телефонное сообщение петлистой скорописью.

Лина медленно отступила в свой кабинет. Она сняла трубку, позвонила в техническую службу и получила номер конференц-зала для завтрашней встречи. Комната 2005, двадцатый этаж. Восемь утра. Завтрак не предусмотрен.

Пятница

Когда Лина открыла дверь переговорной, к ней повернулись три головы. Лина пришла на пять минут раньше назначенного времени, но все же, видимо, оказалась последней. Шел дождь, но она не зашла к себе в офис, чтобы оставить там верхнюю одежду и сумку; теперь, стоя в дверях и выпутываясь из мокрого желтого пальто, она жалела об этом. Мужчины пару секунд смотрели на нее, потом снова повернулись друг к другу и возобновили разговор.

Дэн, Гаррисон и, по всей видимости, мистер Дрессер сидели за маленьким круглым столом, середина которого была уставлена всякими фирменными штучками. В кофейной кружке торчала целая коллекция ручек и карандашей, рядом с кружкой лежала бейсбольная кепка с жестким козырьком – все это украшено логотипом «Клифтон и Харп». Сбоку сидел четвертый участник встречи – лощеный молодой блондин в синем костюме, с бумагой и ручкой наготове. Не иначе как помощник Дрессера: такие люди, как Рон Дрессер, никогда не приходили на встречи в одиночку.

Насколько Лина понимала, мужчины вели светскую беседу. Дэн говорит слишком громко, Гаррисон рокошет тихим воркующим голосом. Мистер Дрессер, внимая их стараниям, слегка наклонил голову – жест человека, который привык быть в центре повышенного внимания окружающих. Зря стараетесь, как будто говорил наклон его головы. Мистер Дрессер чувствовал себя в своей тарелке. На нем был темно-серый костюм, фиолетовый галстук с блестками, сияющие черные кожаные ботинки. Кожа у Дрессера была цвета кофе с большим количеством сливок, и, даже когда он сидел, было видно, что это крупный мужчина – не толстый, но и в длину, и в ширину смахивающий на монумент. Казалось, он едва помещается в кресле. Рядом с Дрессером Дэн и Гаррисон казались лилипутами.

Лина заняла единственное свободное кресло за столом. Мистер Дрессер первым обратил на нее внимание.

– Вы, должно быть... – Он заглянул в лежавшую перед ним бумажку.

– Лина. Каролина Спэрроу, но все зовут меня Линой. – Его как будто не вполне удовлетворил ее ответ.

– Лина и Гаррисон – два наших самых способных молодых партнера, – сказал Дэн. – Мы все очень рады этому проекту. Теперь перейдем к конкретике, хорошо?

Мистер Дрессер откинулся на спинку стула, положил правую лодыжку на левое колено и поправил кончик галстука на своем обширном животе.

– Друзья мои, это будет крупнейшим и важнейшим делом во всей вашей карьере, – сказал Дрессер. – Неважно, работаете вы двадцать лет или только вчера переступили порог этого почтенного учреждения. Это то, чего вы так долго ждали. Мы стремимся загладить самую большую, самую долгую несправедливость в этой стране. Мы хотим возместить сто лет бесчеловечного отношения к людям, триллионы – повторяю, триллионы долларов невыплаченной заработной платы. Количество истцов исчисляется сотнями тысяч, а возможно, и миллионами. Мы стремимся не только компенсировать им пот и кровь их предков, но и увековечить, вспомнить этих страдальцев. Кто они? Кем были их угнетатели? Я хочу, чтобы были названы имена и той и другой стороны. Раскрытие правды, свидетельские показания, внимание прессы, которое вызовет этот судебный процесс, – так сказать, общественное мнение – все это позволит в конечном итоге исправить исторические ошибки. – Дрессер выпрямил ноги и наклонился вперед. – В ваших силах излечить нашу страну, открыть ей истину, в которой она так нуждается. Этот иск может, в буквальном смысле, переписать историю.

Дрессер умолк. Его помощник царапал пером по бумаге.

– И даже если дело не дойдет до суда, мы согласимся на компенсацию и получим целую кучу денег, – продолжал Дрессер. – А что тут плохого? – Он усмехнулся и посмотрел на Дэна. – Верно, Дэни, дружок?

Дэн широко улыбнулся.

– Верно. Давайте обсудим план.

В течение следующих 4,2 оплачиваемого часа Лина слушала, как мистер Дрессер и Дэн обсуждали стратегию подачи первоначального иска. Они будут нажимать на теорию незаконного обогащения, утверждая, что двадцать две частные корпорации США, работающие в разных отраслях экономики – табачной, страховой, текстильной, банковской, транспортной, энергетической, горнодобывающей, – незаконно обогатились за счет использования рабского труда или извлечения из него выгоды до принятия тринадцатой поправки. Потомки этих рабов теперь являются законными бенефициарами компенсации за принудительный труд, который использовали эти компании, начиная с первой зарегистрированной продажи рабов в 1619 году и заканчивая отменой рабства в 1865-м. Всего 246 лет. Это встанет, согласно подсчетам Дрессера, сделанным ручкой «Клифтон и Харп» на бумаге с водяными знаками «Дрессер и Харп», в 6,2 триллиона долларов, включая сложные проценты, начисленные за это время при ставке в 6 процентов.

Дэн объяснил, что иск будет нацелен также против федерального правительства. Тут-то и понадобится «зеленый свет» Дрессера.

– Я получил конфиденциальное подтверждение того, что, когда мы подадим иск, правительство согласится официально принести извинения за рабство, – сказал Дрессер. – Мы отзовем иск к правительству, и тогда федералы окажут некоторое давление на наших ответчиков из корпораций, чтобы они согласились на урегулирование, – улыбнулся он. – Хороший отвлекающий маневр, знаете ли: искупление грехов прошлого может отвлечь внимание от сегодняшних грехов, которые бросаются в глаза. Но нас тут интересует тугой кошелек. Правительство оказывается хорошим, а мы получаем некоторый реальный доход.

– Деньги, выигранные в результате судебного процесса или полученные путем урегулирования, пойдут в фонд финансирования различных программ и учреждений, – пояснил Дэн, бросив взгляд на Дрессера; тот кивнул в знак согласия. – Государственный музей рабства, памятник на Национальной аллее, стипендии колледжей, образовательные программы, фонды для предприятий, принадлежащих меньшинствам, для общественных центров, учебные программы по борьбе с расизмом в школах, армии и полиции. Так это видит мистер Дрессер, и мы здесь, чтобы помочь ему добиться этого.

Время от времени Лина или Гаррисон задавали вопрос или вставляли реплику, но ни Дрессер, ни Дэн, казалось, их не слышали; даже помощник Дрессера, делавший записи, похоже, не замечал их присутствия. Лина и Гаррисон то и дело обменивались взглядами с видом молчаливой заинтересованности и понимания собственной роли: присутствовать, быть свидетелями интересного и интеллектуально стимулирующего обмена мыслями между этими двумя успешными людьми, впитывать их ум, опыт и остроумие (Дэн несколько раз пошутил).

К концу встречи, когда Дрессер стал развлекаться расчетом сложных процентов, Дэн задал вопрос.

– А почему именно сейчас? – бесстрастно спросил он. – Я не говорю об установленных законом сроках давности. Я говорю в историческом плане. Поколения после рабства... Эпоха завершилась. Почему сейчас?

– Почему сейчас? – повторил Дрессер и поднял взгляд к маленькому окну на восточной стене, в которое был виден только бледно-голубой квадрат неба. Он повернулся к Дэну. – Позвольте, я задам вам вопрос. Американские рабы построили Белый дом, построили здание Капитолия. Джефферсон был рабовладельцем, Вашингтон был рабовладельцем, Улисс С. Грант – да-да, великий командующий Союзной армией – тоже владел рабами. Из всех президентов,

сидевших в Белом доме, восемь владели афроамериканцами. И при этом в стране нет ни одного национального памятника нашим братьям и сестрам в оковах. Почему у нас девятнадцать музеев Смитсоновского института – девятнадцать, из которых один забит одними только паршивыми почтовыми марками, – и ни один не посвящен памяти людей, которые жили в неволе и помогали строить эту страну? Мы не стали бы мировой сверхдержавой, если бы двести пятьдесят лет не пользовались неограниченной, бесплатной рабочей силой, на которой строилась вся экономика. Вы спрашиваете, почему сейчас? Как их звали, Дэн? Они были нашими отцами-основателями и матерями-основательницами, точно такими же, как и белые люди в париках, хлеставшие бичами по их спинам. Не пора ли этой стране сделать хоть что-то, чтобы вспомнить их? И посчитать, сколько мы им должны? Это бессрочно, друг мой.

Дрессер пристально посмотрел на Дэна, как показалось Лине, с огромной неприязнью. Затем Дрессер улыбнулся, его зубы оказались очень белыми и ровными, как лезвие бритвы.

– Я завелся, говоря об этом, Дэн, но не хотел вас обидеть. Я знаю, что мы одна команда. В моей семье помнят несколько имен, несколько деталей. В детстве дед моего отца стал рабом на хлопковой плантации Миссисипи, это все, что мы знаем. Прабабушку матери оторвали от детей, забрали и продали. Что с ней случилось потом? А с прадедом? Это моя боль. Серьезно.

В комнате воцарилось неловкое молчание. Неприкрытые эмоции в голосе Дрессера, его искренность, казалось, смутили Дэна и Гаррисона, и оба теперь сидели, опустив головы, сосредоточенно изучая собственные руки. Только Лина не сводила глаз с Дрессера. В ней вспыхнуло понимание, чувство близости с ним – это было связано с потерянной семьей ее матери и смутным желанием знать. Лине стало интересно, что еще Дрессер узнал об истории своей семьи, о проданной бабушке, о детях, оставшихся без матери, и как сам добился такого успеха, – только посмотрите на него! часы! помощник! – несмотря на эту постоянную, непреходящую пустоту. Несмотря на то, что его сознание пробито огромными дырами, имеющими форму людей. Лина с трудом подавила в себе желание схватить Дрессера за руку.

Дэн поднял взгляд.

– Спасибо, Рон. Я уверен, мы все оценили этот урок истории. – Он вдруг заметил Лину и Гаррисона и поднял ладони, опершись локтями о стол. – А теперь давайте изучим сводки, которые были представлены в других делах о компенсации за рабство, и решения, которые были вынесены. Гаррисон, я хочу, чтобы ты обрисовал основные причины, по которым истцы прежде проигрывали в порядке упрощенного производства, и наши аргументы, чтобы обойти эти проблемы. Самые серьезные из них – право обращения в суд и срок давности. Уверен, ты можешь мыслить нестандартно.

– Теперь ты, Лина. – Дэн ткнул указательным пальцем в направлении ее носа. – Я хочу, чтобы ты сформировала группу для подачи коллективного иска. – Дэн опустил палец и стукнул им по столу для вящей убедительности. – Это очень важно, думаю, ты должна посвящать этому все свое рабочее время. Нам нужно вычленив эту группу и найти влиятельного главного истца, который будет подавать иск. Может быть, нескольких, чтобы было из кого выбирать. Подумай об ущербе – каков его размер и характер. Нам нужно лицо, человек, на примере можно показать ущерб. Но не забывай, сострадание притупляется. Люди вмещают лишь ограниченное количество душераздирающих историй, после чего перестают их воспринимать. Рабство – это ужасно, да, да, а что еще? Нужно что-то волнующее, неотразимое, под новым углом. И не забывай про фотогеничность – ведь эти люди попадут на телевидение, в газеты, они будут давать интервью. Нам нужны необычные люди, Лина, несколько необычных историй. Конечно же, ужасы рабства, но и вставание с колен, ля-ля, в общем, ты меня поняла?

Лина кивнула, машинально, как всегда, когда Дэн задавал ей вопрос только с одним возможным ответом.

– Вот и чудненько! – сказал Дэн. – Ну, Рон, мы понеслись.

В дверях Лина обменялась рукопожатием с Дрессером. Он положил свою левую руку поверх ее правой и сжал их, чтобы она не могла отнять руку.

– Спасибо, – сказал он, впервые глядя ей в глаза. – Я знаю, что это нелегкий случай. Я знаю, что вы будете стараться ради нашего успеха.

– Я с нетерпением жду совместной работы с вами, – сказала Лина. Рука Дрессера была теплой и сухой, светло-карие глаза блестели.

Лине никогда не приходила в голову мысль о компенсациях за рабство. В школе права этому не учили, и вообще она никогда об этом не думала. Белая девушка двадцать первого века из Нью-Йорка – что она знала о долговременном ущербе от рабства или о 6,2 триллиона долларов невыплаченного жалования? Десятки брифов, которые она написала за время работы в «Клифтоне», прошли перед ней мысленным парадом – разные дела, разные клиенты, но по сути одно и то же. Каждый клиент – ТОО, или LLP, или ООО, или Лтд., или Корп. Каждая жалоба – вариация на тему о нарушенном договоре. Но Дрессер принес в «Клифтон» что-то совершенно новое. Двести пятьдесят лет, тысячи безымянных, безликих, забытых людей. Да, они были отцами и матерями-основателями Америки точно такими же, как и белые люди в париках, хлеставшие бичами по их спинам. Почему Лина не знает их имен? Почему она не изучала их историю? Где памятник? Где музей? Чего они хотели, ради чего работали, кого любили?

Джозефина

В половине десятого коляска доктора загромыхала во дворе. Джозефина и Миссис Лу ждали на крыльце с самого завтрака; Миссис Лу покачивалась в качалке, под ситцевыми рукавами ее платья росли пятна, Джозефина обмахивала рукой лицо, чувствуя, как пот на ее верхней губе становится прохладным и высыхает. Ноги болели от стояния, во рту пересохло.

Доктор Викерс выбрался из коляски и торжественно снял шляпу. Лошадь прядала ушами, отгоняя гудящих мух. Доктор немного постоял во дворе, глядя на Миссис Лу, сидящую на крыльце. Лысая голова доктора блестела, как очищенная картофелина, живот выпирал, спина была слегка ссутулена, а слишком короткие ноги выгнуты в коленях, как куриная грудная косточка. Лицо доктора было похоже на сморщенное яблоко, высохшее на солнце, кожа местами натянута, местами обвисшая, карие глаза широко расставлены.

– Добрый день, миссис Белл, – сказал он.

Лицо и голос доктора сразу показались знакомыми, и у Джозефины перехватило дыхание, как будто открылся ящик с воспоминаниями. При виде лысой головы, похожей на очищенную картофелину, Джозефина вернулась в ту ночь, когда впервые пыталась бежать, когда вернулась в Белл-Крик с такой сильной болью в животе, что было трудно дышать. Из-за этой боли она и вернулась. Был рассвет, шел дождь, у окна прыгала ворона. Джозефина лежала на высокой кровати, рядом с ней сидела Миссис Лу, по комнате ходил незнакомый мужчина, он осматривал Джозефину, ощупывал толстыми пальцами. Теперь доктор Викерс стоял в пыльном дворе, по лицу сбегала струйка пота, медленно, как будто глядя его щеку. Это был тот самый человек.

Джозефина отбросила воспоминания и посмотрела вниз: у нижней ступеньки крыльца приземлилась ворона и тукнула землю твердым клювом. Лошадь врача вздрогнула и начала отступать в сторону по мере того, как ворона приближалась к копытам, клюя утоптанную землю. Лошадь фыркнула, и ворона низко взлетела, держа в клюве что-то маленькое и черное.

Доктор начал подниматься по лестнице. Его тело покачивалось из стороны в сторону, перила скрипели под его весом. В правой руке он держал трость, но не опирался на нее. Широко раскрыв объятия, он подошел к Миссис Лу.

– Дорогая Лу Энн, сколько лет прошло. Рад видеть тебя снова. – Его голос звучал низко, нежно и сладко.

– Я тоже рада, доктор. Как давно это было! – Миссис Лу встала, чтобы поздороваться с ним, ее волосы на шее и лбу были влажны и растрепаны, платье на спине, которой она прижималась к качалке, потемнело. Миссис покачнулась, согнув колени, – изобразила нечто вроде реверанса.

– С прискорбием услышал о ваших недавних бедах, – сказал доктор. – Сарай. И, конечно, твое слабое здоровье.

– О, на самом деле это ерунда, не беспокойтесь. Я прошу прощения за то, что вам пришлось ехать в такую даль, в дебри округа Шарлотта, ради одной жалкой пациентки! Пожалуйста, пойдемте в дом, здесь слишком жарко.

Миссис Лу привела доктора в переднюю гостиную, редко используемую комнату, где постоянно пахло плесенью, сколько ни возилась здесь Джозефина с розовой водой и щеткой. Миссис жестом пригласила доктора Викерса сесть и сама уселась на противоположный конец кушетки с квадратной спинкой, которая была покрыта шоколадно-коричневой тканью, прибитой по краям круглыми медными гвоздями, двумя непрерывными рядами покрывавшими спинку и подлокотники. В детстве Джозефине нравилось проводить пальцем по их гладким шляпкам – как будто монетки считаешь.

Мебель и безделушки, которые Генри покупал или заказывал для этой комнаты, являли собой образчики тончайшего мастерства и моды пятнадцатилетней давности. После того как

Генри умер и его наследником стал Папа Бо, отсюда ничего не вынесли, ничего не заменили. Два небольших стола из темно-коричневого орехового дерева, покрытого воском и отполированного до блеска, стояли с обоих концов дивана, у каждого – по два стула с прямыми спинками и тонкими ножками, чтобы можно было сидеть и разговаривать перед широким кирпичным камином. На каминной полке стояло собрание керамических статуэток, изображающих пасторальные сценки: олениха с олененком, маленькое стадо белых овец, чернолицый раб, пасущий бурую пятнистую корову, – а еще небольшая миска прозрачного синего стекла, с пузырьком, подвешенным по центру, как гигантская застывшая слеза. Каждую неделю Джозефина брала в руки эти безделушки и стирала под ними пыль с деревянной полки. Она протирала салфеткой их хрупкую разрисованную поверхность – рыжий олень был как живой, копыта коровы черные, как и лицо мужчины, синее стекло утончалось до такой остроты, что однажды Джозефина порезала большой палец, как будто провела им по лезвию.

Миссис Лу сидела, выпрямив спину и расправив плечи, сложив руки на коленях. Джозефина не была знакома с другими леди, но она порой видела, как дочери мистера Стэнмора проезжали мимо на своих вороных кобылах, и поза Миссис Лу сейчас напомнила Джозефине их верховую посадку. Та же уверенная осанка, какую дают привилегии и уверенность в своем положении. Миссис сохранила ее, несмотря на все выходки Мистера.

– Джозефина, принеси нашему доброму доктору лимонаду или, может быть, сладкого чаю, доктор Викерс? – спросила Миссис Лу.

– Спасибо, Лу Энн, ничего не нужно, – сказал доктор. Помолчав, он мягко добавил: – Могу я спросить, на что жалуешься?

– Доктор, я здорова, как птичка, никаких жалоб. – Миссис Лу широко улыбнулась, но ее глаза блуждали, а правый уголок верхней губы дергался, когда она говорила.

– Да. Но давай я осмотрю тебя. Если можно.

Миссис Лу колебалась, ее рот снова скривился от тика.

– Это так необходимо?

– Боюсь, что да, дорогая.

– Ну, если нужно... – сказала она и посмотрела в сторону: в окно гостиной ярко светило солнце. – Только, доктор, боюсь, Роберт сегодня не сможет с вами встретиться. Вы должны рассказать о результатах осмотра Джозефине. Видите ли, я ужасно забывчива. – Миссис выговаривала эти слова старательно, как ребенок, словно боясь, что ее будут ругать, если она не скажет их правильно.

– О, как жаль. Он что, не может выкроить ни минуты? – раздраженно спросил доктор Викерс, мельком взглянув на Джозефину, слегка приподняв веко, и этот жест вызвал у нее другое воспоминание: быстрый осмотр, нетерпение и скрытое раздражение доктора из-за того, как все неаккуратно. Его толстые пальцы, грубые и небрежные. – Ни минуты? – повторил он.

Доктор Викерс ждал в холле, пока Джозефина помогала Миссис Лу снять платье и вешала его на расписанную цветами ширму, закрывавшую угол комнаты. Высокая узкая кровать Миссис стояла у восточной стены, рядом с ней стояли умывальник и кувшин. Коврика у кровати не было, а окна были занавешены тяжелыми темными шторами, в складках которых собиралась пыль и мелкие летающие насекомые. Одежда Миссис хранилась в обшитом панелями шкафу из вишневого дерева, потемневшего от времени. Хотя эта комната находилась в задней части дома, именно ее Миссис Лу выбрала для своей спальни, потому что из окон, выходящих на запад, открывался вид на заходящее солнце. Миссис предпочитала смотреть на закат, лежа на кровати и откинув голову на подушки.

– Готово, – сказала Миссис Лу, и Джозефина вызвала доктора из холла. Миссис стояла в нижней юбке и сорочке, без корсета, ее розовая кожа казалась шершавой. Она без протеста подчинилась доктору, который ощупывал и обстукивал ее. Признаки болезни Миссис были

налицо: запавшая грудь, жесткий надрывный кашель, россыпь розовых пятнышек на спине. Доктор Викерс повернул Миссис, как куклу, и положил пальцы на ее шею, осматривая красный нарост.

Джозефину охватила дрожь. Она отвела взгляд, ее дыхание внезапно стало быстрым и резким, сердце грохотало. Воспоминания понеслись со скоростью и силой локомотива, Джозефина не могла остановить их бег. Тогда, в первый раз, она слишком долго выжидала, прежде чем бежать, все эти долгие месяцы не понимая, не желая понять, скрывая свою изменяющуюся фигуру под тяжелыми юбками, под длинным передником. Она вернулась в Белл-Крик, когда начались боли, низко свесившийся живот отяжелел, внутри все ныло и тянуло; Джозефина поняла, что ее время вот-вот настанет и далеко она не уйдет.

Она лежала на высокой кровати – кровати Миссис? – рядом были Миссис Лу и доктор с его лысиной, с его нетерпением. Наконец боль прекратилась, и наступила тишина. Она не слышала детского крика, задыхающегося пронзительного вопля, который, как она помнила, издавали новорожденные младенцы Каллы. Только тишина, тяжелая и глухая, и Джозефина прислушивалась к этому отсутствию звуков, нарушаемому только стуком дождя. Казалось, это естественно, ее ребенок родился мертвым, как и все дети, которые рождались в Белл-Крике: может быть, воздух здесь был недостаточно здоровым, чтобы поддержать новую жизнь, а может быть, это призраки не хотели терпеть живое существо, мокрое и вопящее, и забрали его к себе.

Потом доктор ушел, а Миссис Лу осталась, погладила Джозефину по волосам, подержала ее за руку, а потом тоже ушла, дверь закрылась, засов упал с резким стуком. Джозефина осталась одна и плакала, пока ее тело не сделалось сухим и твердым, как камень на солнце.

Комод мистера Джефферсона открылся, и Джозефина изо всех сил старалась закрыть его снова. Она сжала кулаки и сосредоточилась на том, как ногти впиваются в ладони, пока не почувствовала, что костяшки пальцев вот-вот треснут или кожа на них разорвется. Джозефина устремила взгляд в окно: блекло-голубое небо, верхушки деревьев неподвижны в этот безветренный день. Из окна открывался красивый вид: зеленые табачные поля, за ними – бескрайнее золотое мерцание пшеницы, на золотом фоне – плотная линия темных вечнозеленых деревьев. Над деревьями плавно возвышались два холма, склоны которых сливались в темную возвышенность, благодаря чему земля была похожа на женщину, лежащую на спине, скрестив бедра – Джозефина как будто стояла на пальцах ее ног. Она подумала о бедной могиле своей матери, о небольшом округлом холмике, и мать теперь представлялась ей монументальной, тело вырезано из вершин гор и долины, волосы – облака, кожа – гладкость молодого зеленого листа. Как нарисовать такую сцену – тело женщины, возникающее из гор?

Джозефина разжала кулаки. Она наблюдала, как воробей садится на ветку яблони, отлетает за оконную раму, возвращается к другой ветке, улетает, прилетает. Снова и снова нижняя часть крыльев воробья вспыхивала белым, голова казалась заостренной, как стрела. Вдалеке Джозефина слышала низкое жужжание – полевые работники пели за работой. «Сегодня вечером я убегу. Сегодня ночью». Она произносила это про себя снова, и снова, и снова.

Доктор Викерс закончил осмотр и разрешил Миссис Лу одеться. Джозефина отошла от окна, чтобы помочь ей, и доктор на мгновение задержался в комнате, теперь залитой солнечным светом. Он подошел к Джозефине и прищурился, то ли оценивая ее, то ли просто от яркого света.

– Я подожду в холле, – сказал доктор.

После осмотра Миссис Лу была послушной и спокойной. Не отрывая взгляда от окна, она позволила Джозефине снять с нее старые нижние юбки и переодеть в чистую одежду. Она поднимала руки, поворачивалась, делала так, как говорила ей Джозефина. Неужели сейчас будет припадок, с беспокойством думала Джозефина, ведь утро такое жаркое, да еще визит врача.

– Мы потом посидим в тени, у реки, – шепнула Джозефина Миссис Лу. – Я вам почитаю.

Джозефина посадила Миссис Лу на кровать.

– Сейчас приду, – сказала Джозефина и закрыла за собой дверь. Потом повернулась к доктору, который ждал в нескольких шагах от двери, нетерпеливо постукивая тростью по полу.

– Состояние твоей хозяйки очень тяжелое, – сказал он. – Она отдыхает? Она хорошо ест?

– Да... да, – запнулась Джозефина. – У нее хороший аппетит. Отдыхает, да, она, в общем-то, хорошо спит. Хотя иногда припадки ей мешают.

– Мне нужно пустить ей кровь, но я не принес с собой ртуть. Я не думал, что опухоль зашла так далеко. – Теперь он говорил сам с собой, отводя взгляд, глядя через плечо Джозефины в окно в конце коридора. Потом доктор снова повернулся к Джозефине: – Она должна оставаться спокойной, но в приподнятом настроении. У нее меланхоличная натура и хрупкое сложение. Такое сочетание не подходит для тяжелой жизни на такой ферме, как эта, и крайне важно, чтобы ее внимание было сосредоточено на счастливых мыслях, на легкомысленных вещах. – Доктор скользнул глазами по холлу: голые доски пола, штопанные занавески на дальнем окне, пятна грязной штукатурки на стенах. – Трудный путь выбрала твоя хозяйка, – сказал он.

В глубине штата Миссисипи семья Миссис Лу занималась выращиванием хлопка на бескрайних плодородных землях. Там и выросли Миссис, ее пять сестер и брат. Она часто рассказывала об этом Джозефине, о платьях, которые она когда-то носила, о танцах и музыке на вечеринках, которые устраивала ее семья, о браслете, который ей подарили на шестнадцатый день рождения – тонкой золотой ленте, которую она надевала каждую пятницу, когда ужинала с родителями.

– Я оставила все это, Джозефина, когда вышла за него замуж, – сказала Миссис перед своей болезнью. Ее интонация была прозаической – просто констатация давно прошедших событий. – Тогда он был хорош собой. Говорил так мило и застенчиво, а глаза у него были синими.

Доктор подошел ближе и наклонился к Джозефине. Она ощутила легкий запах немытого тела, смешанный с горечью лекарств.

– А я тебя знаю, девочка, – сказал доктор. – Ты помнишь меня?

Он наклонился еще ниже, и Джозефина увидела потемневшую изнанку его воротника, проблеск серо-желтой кожи на шее и шершавую красноту горла. Его запах заполнил весь холл.

– Нет, доктор, – сказала Джозефина, отступая. Она больше не хотела иметь ничего общего с этим человеком. Ей хотелось, чтобы он ушел из Белл-Крика, вместе со своей тростью и пытливыми руками.

– Разве? А я думаю, что помнишь.

Джозефина отрицательно покачала головой, но увидела, как он смотрит на нее: в глазах уверенность и холодное медицинское любопытство.

– Ну, конечно, этого следовало ожидать, – сказал он. – Ты была очень слаба и совсем молода. Я назначил тебе успокоительное. – Он откинул голову назад, и его осанка изменилась, грудь выпятилась. – Вся эта история, это такая жалость. Позор. – Доктор Викерс будто выплюнул последнее слово. – Твоя Миссис проявила невероятную доброту, уж в этом будь уверена. Тебя бы могли продать, прогнать или, по крайней мере, отправить в поля, подальше от ее дома. Не знаю, почему она поступает так, как поступает. Она всегда была упрямницей.

Джозефина опустила глаза, стараясь не встретиться с ним взглядом и не сделать ничего такого, что продлило бы их разговор. Белые костяшки пальцев доктора сомкнулись вокруг ручки его трости.

Из комнаты Миссис донесся слабый шум, скрип половицы, шорох юбок, движущихся за закрытой дверью. Джозефина отвлеклась на звуки, повернула голову, и доктор Викерс отступил на пару шагов.

Когда он снова заговорил, его тон был деловым и откровенным.

– Думаю, твоя Миссис умирает. Похоже, у нее опухоль, этот нарост на шее. Вопрос только во времени. Трудно сказать, сколько ей осталось. Болезнь сильно запущена, и с головой у нее неважно. Но она еще может удивить нас всех, найти внутренний ресурс. – Он опустил подбородок. – Расскажи мистеру Беллу все, что я сказал тебе. Через два дня я заеду снова. Если что-нибудь в ее поведении изменится, мистер Белл должен немедленно написать мне. Поняла?

– Да, конечно. Я поняла.

Взгляд доктора Викерса был тяжелым, немигающим.

– Теперь я ухожу. Оставайся с хозяйкой.

Он повернулся и начал спускаться по скрипучей лестнице. Кончик трости оставался на отлете и ни разу не ударился о ступеньку.

Доктор Викерс ушел, а Джозефина надолго осталась в холле, ожидая, когда ее позвет Миссис Лу. Миссис Лу умирает. Слова доктора отдавались в ушах Джозефины, заполняли ее сердце, и она чувствовала, что ее решимость пошатнулась. Она уйдет, а кто будет заботиться о Миссис Лу? Кто будет удерживать ее во время судорог, кто причешет ее, принесет то, что ей нужно, проследит, чтобы она поела? Уж не Мистер, это точно. На другую прислугу у него нет денег. Лотти, Тереза, Калла – никто из них не знает о доме, о Миссис и о ее привычках так много, как Джозефина.

Она смотрела, как солнце играет на половицах, как тени, отбрасываемые облаками, плывут, словно вода, по лесу, и вспоминала прошлое, когда она была девочкой, но уже не малышкой. Ее босые ноги шлепали по каменному полу кухни, а Миссис в гостиной напевала мелодию. Книжки, которые Джозефина брала из библиотеки и тайком протаскивала в свою комнату. Тогда было легко. До того, как жало пчелы убило юного Хэпа, до припадков Миссис, до того, как продали Луиса. Однажды, перед самой продажей, Луис принес Джозефине цветы – букет золотарника, который Лотти выпалывала, считая сорняком, он лежал у задней двери; Джозефина знала, для кого он и кто его оставил. Луис был быстроногим, длинным и гибким, его верхняя губа красиво изгибалась, когда он улыбался, а улыбался он охотно, всегда готовый порадовать Джозефину.

Это он первым заговорил о побеге. Именно благодаря Луису она решила, что это возможно. Когда поздними вечерами она навещала Лотту и Уинтона, и от огня тянуло затхлым запахом горящего сырого дерева, и Уинтон ворошил поленья, Луис шепотом рассказывал Джозефине о том, как однажды он убежит. «Филадельфия, – говорил он. – Бостон. Нью-Йорк». Он произносил названия северных городов, будто это были сладкие леденцы, перекатывающиеся у него во рту. «Пойдешь со мной?» – спросил он и, откинув голову назад, рассмеялся, как будто это был выполнимый план, все равно что пойти на пикник, – бежать, спасая свою жизнь.

В последнюю их встречу Луис, приподняв брови, расспрашивал Джозефину, как она живет. Она все время жила в доме, Луис – в полях и хижинах; их разделяли какие-то считанные ярды, но они редко встречались, чтобы поговорить. Они никогда не прикасались друг к другу. Было уже поздно, Джозефину послали, чтобы она позвала Мистера, а Луис вышел из своего ряда, когда Джексон повернулся к нему спиной. «Я ухожу, – прошептал Луис Джозефине. – Скоро. В Филадельфию. Я позову тебя в окно. Голубь не кричит ночью. Ты будешь знать, что это я».

«Я буду знать, что это ты», – сказала Джозефина. Все это было до того, как Мистер приставился к бутылке, до того, как грудь Джозефины стала такой нежной, до того, как ее живот начал раздуваться, и она представляла себе улицы Филадельфии, где они с Луисом бок о бок в толпе, просто мальчишка и девчонка идут себе по дороге.

Через несколько дней Луиса продали. Иногда по ночам она ждала голубиного крика, но напрасно. Горлицы не кричат ночью, уж это она знала.

Вскоре после продажи Луиса умер Хэп, и казалось, что весь свет на время погас, двое крепких мальчишек исчезли в одночасье, женщины и старики плакали. Джозефина горевала по-своему. Не вставала на колени вместе с Лотти, не ходила на могилу Хэпа. «Почему ты отвергаешь Его свет, – спрашивала Лотти. – Почему презираешь Его?» Вера Лотти была основана на проповедях Папы Бо и трагедиях, которые она пережила сама. Она потеряла того, кого любила, а как, Джозефина так и не узнала, Лотти никогда не рассказывала подробностей. Мать и три сестренки Лотти разбросаны где-то в хлопковых штатах, так предполагала сама Лотти; дети, которые родились еще до Белл-Крика – Лотти никогда не называла их имен, а сколько их было, Джозефина могла только догадываться, все умерли; и наконец, последний сынок Лотти, ее любимый Хэп: вздутие на коже размером с десятицентовик. Один только Господь не оставлял ее.

Джозефина не раз задумывалась о вере Лотти. Джозефина стояла рядом с Лотти и Уинтоном в сарае, где когда-то хранили мясо, а теперь проповедовал Папа Бо – он стонал, дрожал, а иногда и падал на землю. Снова и снова Джозефина пыталась почувствовать их пыл, но смотрела на них и не чувствовала ничего. Миссис тоже верила. Джозефина видела, как беззвучно шевелятся ее губы, а палец скользит по странице с позолоченными краями. Но Джозефина так и не обратилась, ни разу не испытала восторга и не услышала зов. Ее тело принадлежало только ей – не Мистеру, не Миссис Лу и не Господу на небесах. И только эта единственная вера помогала ей делать шаг, и вдох, и следующий вдох, и следующий.

Стоя в холле, где солнечные полосы на полу становились все длиннее, Джозефина видела тело матери, распростертое в холмах, и Лотти на коленях у могилы Хэпа, и сияние кожи Луиса при свете огня; она слышала слова доктора: жалость, позор, – и то страшное бездыханное молчание. Есть вещи, которые можно изменить, и те, которые изменить нельзя. И Джозефина знала, что не может ждать, нет, она не останется ради умирающей Миссис Лу. Бежать.

Лина

Пятница

Одиннадцать тридцать вечера. Лина работала дома. Обрывки разговоров, смех и крики проникали с улицы в ее комнату, но для Лины выходные казались такими же далекими, как луна. Она сидела в кровати – на коленях подушка, на подушке книга – и читала. Дэн, как и обещал, передал всю ее работу с клиентами другим адвокатам. Пока шла встреча с Дрессером, рабочий стол Лины успели очистить от всех бумаг, касающихся старых дел, и теперь он был завален кучей книг и папок: информация о коллективных исках, книги по истории рабства в США, экономические трактаты, финансовые схемы заработка фермерских работников и фермерской прибыли, прецедентные дела – возмещение ущерба жертвам холокоста, американцам японского происхождения, восточным немцам после воссоединения; решения Международного суда, Нюрнбергского трибунала, Британский закон о компенсации за рубежом.

Чтобы начать исследование, Лина приволокла домой портфель, набитый расшифрованными интервью, взятых в 1930-х годах, воспоминания последних американских рабов. Характер ущерба. Опыт одного человека, который мог бы представлять опыт многих. Лина надеялась, что в этих интервью найдет путеводную нить. Используя данные переписи, общедоступные исторические записи и биографическую информацию, содержащуюся в интервью, будет достаточно легко отследить потомков респондента. И еще Гаррисон предложил связать Лину с несколькими знакомыми, которые уже отыскивали свои семейные корни. Тогда, после встречи с Дрессером, Гаррисон подошел к ее офису и встал в дверях, с ручкой, заложенной за ухо. «Они будут рады поговорить с тобой. Просто сошлись на меня», – сказал он и подмигнул.

Завтра Лина будет звонить, назначать встречи, а к началу следующей недели у нее уже будет несколько кандидатов на рассмотрение Дэна и Дрессера. Это совсем не трудно, подумала Лина, и вдруг почувствовала вспышку жалости к Гаррисону.

Кровать Лины была королевского размера – гигантский белый плот посреди комнаты; напротив – три больших створчатых окна с видом на Шестую улицу и основательный серый ствол липы. В комнате горела только лампа на гибкой ножке, стоявшая на прикроватной тумбочке, но круг света, в центре которого сидела Лина, был широким и ярким. Остальная часть комнаты оставалась в тени – белый комод, купленный Оскаром, когда Лине было семь лет, фикус в горшке, доросший почти до потолка, заброшенная гитара в пыльном футляре, набитые до отказа книжные полки.

В комнату забрел Душка, оценивающе посмотрел на кровать и прыгнул. Он соорудил себе в изножье гнездо из одеяла и начал вылизывать шерсть длинными взмахами тонкого розового языка. Вылизав левую переднюю лапу, он перешел к фантомной правой, язык облизывал воздух, культия кругообразно двигалась.

Лина записала в открытом блокноте: «Характер ущерба: рабство». Потом взялась за интервью, начав со списка респондентов. Имена были мелодичны и бесконечны: Ларкин Пейн, Милли Барбер, Сара Одом, Сидни Боннер, Джон Пейн, Лина Энни Пендеграсс, Селла Перкинс, Маргерит Перкинс, Эндрю Бун, Аманда Оливер, Роберт Брайант, Рейчел Перкинс, Джордж Вашингтон Бакнер, Джон Коггин, Нейл Коукер, Эми Перри, Лиззи Дэвис, Луиза Дэвис, Джон В. Элиот, Джон Эллис, Хелен Одом, Джон Оуги, Льюис Оглтри, Дэниел Филипс, Натан Гант, Клейборн Гантлинг, Дженни Грир, Хендерсон Перкинс, Эндрю Грегори, Бенджамин Хендерсон, Молли Хадженс, Керри Хадсон, Джесс Микс, Натан Найтен, Сэм Килгор, Люси Кей, Элла Джонсон, Эдвард Ликуркас, Бэллам Лайлз, Джейн Оливер, Энни Осборн, Виктория Адамс, Долли Уайтсайд, Белла Робинсон, Эллен Поук, Дайна Берд, Натан Бошан, Айрин Пул,

Хэррисон Беккет, Энни Бек, Дж. Х. Беквит, Джон С. Бекторн, Принс Би, Мэри По, Энох Бил, Уэлком Биз, Матильда По, Энн Белл, Оливер Белл, Сайрус Беллус, Сэм Полайт, Керри Поллард, Эдгар Бенди, Минерва Бенди, Аллен Прайс, Уиллис Беннефилд, Керри Брэдли, Логан Беннет, Фанни Берри, Като Бентон, Генри Пробаско, Эллис Беттс, Джек Бесс, Джеймс Берtrand, Элис Бигтс, Джейн Берс, Дженни Проктор, Керри Биннз, Рэнсом Симмонс, Роза Симмонс, Эндрю Симмс, Милли Симпкинс, Бен Симпсон, Фанни Симз, Синья Сингфилд, Джеймс Синглтон, Билли Слотер, Алфред Слай, Пегги Слоун, Сэмюэл Смоллз, Арзелла Смолвуд, Сара Смайли, Анна Смит, Клэй Смит, Фрэнсис Блэк, Энк Бишоп, Нельсон Бердсонг, Джозефина Стюарт, Эльвира Боулз, Джон Прайс, Маршалл Батлер, Тайтус Байнз, Энни Стэнтон, Таннер Спайкс, Солберт Батлер, Лора Соррелл, Натан Бирд, Грэнни Кейн, Роза Старк, Мэгги Стенхаус, Шарлотта Э. Стивенс, Лора Колдуэлл, Джефф Калхаун, Мария Каллоуэй, Джордж Скрагс, Абрам Селлз, Сара Секстон, Элис Сьюэлл, Роберта Шейвер, Мэри Шоу, Нельсон Кэмерон, Чейни Спелл, Джесси Спэрроу, Истер Кэмпбелл, Пейшенс Кэмпбелл, Пэтси Саутвелл, Элизабет Спаркс, Фанни Кэннеди, Сильвия Кэннон, Джеймс Кейп, Тилли Кэртейкер, Сьюзен Сноу, Альберт Каролина, Като Картер, Фрэнк Рид, Эстер Кинг Кейс, Чарли Риггер, Джулия Кейси, Сьюзен Касл, Зени Коули, Эллен Кейв, Дора Ричард, Лула Чемберс, Эми Чепмен, Черити Риддик, Сесилия Чеппел, Харриет Читэм, Элис Риверс, Джемс Чилдресс, Мэри Энн Паттерсон, Соломон Паттилл, Керри Аллен Паттон, Марта Паттон, Эми Пенни, Салли Ньюсом, Пейт Ньютон, Лайла Николс, Маргарет Никенс, Маргретт Ниллин, Фанни Никс, Кора Ториан, Нил Арсон, Долли Уайтсайд, Сэм Т. Стюарт, Марк Троттер, Эллис Стрикланд, Джим Тейлор, Люк Таунс, Эдди Винсон, Чарли Ван Дайк, Джон Уэсли, Офелия Уитли, Элис Риверс, Сьюзи Райзер. И еще, и еще, и еще.

Как и в каждом из ее дел, будь то нарушение контракта, возмещение убытков, мошенничество, Лина начала с таблицы. Внутри аккуратных рядов и аккуратных столбцов факты стали чем-то большим, чем просто список имен, каталог трагедий и ошибок; они стали полезными, ценными, разоблачительными. Есть ли образец? Аномалия? Как разворачивались события? Кто были ключевые игроки?

Лина назвала свою таблицу «Характер ущерба» и вписала в столбцы общие типы ущерба, которые обнаружила при чтении.

Характер ущерба

Тяжелая, однообразная работа
 Плохие условия проживания
 Дети, разлученные с родителями
 Мужья, разлученные с женами
 Физическое насилие
 Сексуальное насилие
 Отказ в получении образования
 Отказ в личных отношениях (например в законном браке)
 Убийство

Находя конкретный пример ущерба, Лина вписывала инициалы соответствующего лица и соответствующий номер страницы. Она читала бегло, не вникая в сами истории. В университете преподаватель уголовного права всегда говорил: «Закон – бастион разума. В нем нет места для чувств. Как юристы, мы рассуждаем, наблюдаем, анализируем».

В три тридцать утра Лина осмотрела свою работу.

Когда-то аккуратно организованные расшифровки теперь растянулись белоснежным ландшафтом на покрывале и на полу. Только таблица оставалась упорядоченной и чистой. Лина изучала имена, частоту и виды нанесенного ущерба; она сопоставляла пол и местоположение, возраст и происхождение. Но закономерность не проявилась. Ущерб наносился всем и везде.

Глаза у Лины болели, пальцы болели, ноутбук стал тяжелым и горячим. Сон наяву обо всем, что она прочитала, вспыхивал в глазах бесцветными силуэтами. Лина записала в своем желтом блокноте: ущерб немерим.

Снаружи проехал автомобиль, дуга света от фар осветила потолок и исчезла. Сверху доносился глухой стук шагов Оскара: он бродил по студии на четвертом этаже. Лина не видела его и не говорила с ним с прошлой ночи; она пыталась не думать о портретах Грейс. Глаза как тарелки, с пустыми зрачками.

«Хватит».

На стене у Лины висело несколько рисунков, которые Грейс сделала до ее рождения. Четыре небольших карандашных наброска, портреты размером не больше яблока, но необыкновенно подробные, прорисована каждая морщинка и ресничка. Раздраженная пожилая женщина со сжатыми губами, голова в плотно завитых локонах. Подросток с ирокезом и сережками, губы изогнуты в спокойной, довольной улыбке. На каждом указание сложного родства, записанное замысловатой прописью: «сын племянника сестры», «четвертый троюродный брат», «бабушкин дядя». Лина понятия не имела, были ли эти люди на самом деле родственниками Грейс и, следовательно, ее собственными родственниками, или друзьями Грейс, или, может быть, соседями по кварталу, или вообще людьми, которых Грейс однажды увидела на улице. Лина росла, завидуя этим незнакомцам, ведь Грейс уделила им такое внимание, какого никогда не уделяла Лине: Лина никогда не видела ни одного своего портрета, нарисованного Грейс, и до сих пор, думая об этом, она ощущала немотивированный укол обиды.

Дверь студии наверху открылась и закрылась, шаги Оскара послышались на лестнице, а затем в коридоре и под дверью Лины.

– Заходи, – позвала Лина, прежде чем Оскар успел постучать в треснувшую дверь.

Оскар распахнул дверь настежь, так что старые петли закрипели, и прислонился к косяку, держа руки в карманах. Вид у отца был растерзанный и усталый.

– Просто хотел пожелать спокойной ночи. Работа кипит? – Он указал подбородком на бумаги и книги, разбросанные по кровати.

– Новое дело, – сказала Лина. – Набираю обороты.

– Слушай, давно хотел спросить тебя – как там Ставрос? – сказал Оскар, тщательно изображая безразличие. – Что-то ты давно о нем не говорила.

– Мы расстались. – Лина снова повернулась к бумагам. Ставрос с его очками в проволочной оправе и беззащитным затылком. Когда-то Лина так восхищалась этим парнем. Никто из них не изменился, не в этом дело, просто так сложились обстоятельства, сказали они друг другу, да еще время. Они долго (часа четыре, а то и пять) говорили по телефону. Никто из них не плакал и не кричал, решение было обоюдным, дружеским и ответственным. Она знала, что нужно было рассказать Оскару об их разрыве еще несколько месяцев назад. Ему всегда нравился Ставрос, несмотря на огромные различия в политических убеждениях и профессиях.

– А мне казалось, у вас все серьезно, – сказал Оскар.

– Наверное, так и было. То есть, четыре года – это много. Но это не имело особого смысла. Он в Сан-Франциско. Мы оба так много работаем.

– Любовь не всегда имеет смысл, Каролина.

– Папа, брось. Это звучит как поздравительная открытка. – Она раздраженно подняла на него глаза и удивилась, что у него такое расстроенное лицо. Его глаза скользили по бумагам на кровати Лины, по стопкам книг, по открытому ноутбуку со всей ее писаниной.

– Все хорошо, – поспешно сказала Лина. – Может быть, я просто жду. Жду чего-то такого, как у вас с мамой. – Она хотела, чтобы отец понял: работа, ночные авралы, перегретый ноутбук – это далеко не все, чего она ждет от жизни. Но что-то она сказала не так. На лице Оскара на миг отразилось потрясение, он тут же замкнулся, и Лина пожалела, что упомянула о матери.

Оскар отошел от двери и перевел глаза на пол.

– Ну ладно, открытка идет вниз и ложится спать. Спокойной ночи, Каролина.

Он не поцеловал ее, как ожидала Лина. Просто вышел и закрыл за собой дверь.

– Спокойной ночи, – крикнула Лина вслед, чувствуя себя виноватой перед ним, хотя и не понимая, в чем именно. Разрыв со Ставросом? Сравнение с поздравительной открыткой? Решения, которые Лина принимала каждый день, чтобы выстроить свою жизнь, так не похожую на жизнь отца?

Повернувшись, Лина взяла с прикроватной тумбочки фотографию Оскара и Грейс, копия которой стояла у нее в офисе. На фото ее родители сидели в ресторане, внизу, у рамки виднелись изогнутые горлышки двух бокалов. Левая рука Оскара обнимала плечи Грейс; рук Грейс не было видно, но Лина всегда представляла, что под столом мать держит отца за правую руку – судя по тому, как близко они сидят, какая между ними близость. Оскар казался таким молодым – без бороды, лохматые волосы лезут в глаза, счастливая улыбка на губах. Грейс повернулась к нему, тоже улыбаясь, глаз, видный на фото, сиял, глядя на Оскара с любовью и гордостью. Фотография была сделана после первой серьезной выставки Оскара – выставка была групповой, но галерея – модной, и у него купили картину. Одну картину! Это казалось невероятным, удивительным, как будто они встали на верный путь, сказал Оскар. Девять месяцев спустя Грейс не стало.

Зимняя дорога – куда она вела? Машина – какая? Дерево, телеграфный столб, дыра в асфальте. Грейс одна. Одна? Кровь на переднем сиденье, расколотое ветровое стекло, выброшенное тело, темные волосы, разметававшиеся по испачканному красным снегом. Лина уже много лет не думала о смерти матери, не спрашивала себя о деталях, которые когда-то казались ей такими важными. Но сейчас все эти картины разворачивались в воображении Лины в ярких цветах и мучительных подробностях.

Много лет, с раннего детства до подросткового возраста, Лина ходила следом за темно-волосыми женщинами, которых она встречала на улице или видела в метро. Она выбирала тех, кому, по ее мнению, было примерно столько же лет, сколько было бы ее матери – тридцать пять или около того, – и тихо, безобидно сопровождала их по тротуарам Манхэттена, на почту или в банк, в магазин, куда они заходили за продуктами, или в кафе, куда шли посидеть с друзьями. При этом она испытывала сложную смесь страха, волнения и вины. Лина никогда не беспокоила их. Ей от них ничего не было нужно. И только один раз она говорила с одной из них – женщиной в длинном темно-зеленом пальто, за которой Лина шла в зимних сумерках – ей было тогда пятнадцать, день был холодный, в тяжелом сером воздухе пахло металлом. Сначала она увидела женщину в метро, потом вышла за ней на улицу и двинулась следом, на восток по Семьдесят седьмой улице Манхэттена. Шел снег, беспокойный мелкий снег, он падал на тротуар, на рукава Линино пальто, на ее непокрытую голову. Она шла и шла за женщиной, тротуара уже не было видно под зыбкими слоями снега, заледеневшие волосы Лины потрескивали. Внезапно женщина остановилась и повернулась к ней лицом. Кроме них на улице никого не было, и широко раскрытые глаза женщины смотрели испуганно.

– Зачем ты меня преследуешь? – спросила она.

Лина была так поражена звуком ее голоса – высокого и нервного, – что хотела сразу повернуться и убежать.

– Я... я вас не преследую, – запинаясь, произнесла она.

– Преследуешь, – сказала женщина уже не так испуганно. – Ты шла за мной несколько кварталов. Я видела тебя в метро. Я видела, как ты смотришь на меня. Зачем ты это делаешь?

Теперь, лицом к лицу, Лина увидела, что на самом деле эта женщина намного старше, чем могла бы быть Грейс: седеющие волосы, морщинки вокруг рта, синяки под глазами.

И именно поэтому Лина сказала: «Нет, ничего. Мне пора домой», повернулась и пошла назад, мимо тихих, задумчивых особняков Верхнего Ист-Сайда, к станции метро, откуда она вышла за женщиной, желая увидеть, куда она пойдет, желая увидеть, какую жизнь ведет эта женщина, похожая на Грейс.

Лина услышала, как по кряхтящим трубам льется вода – Оскар чистил зубы; потом глухой стук запираемых ящиков внизу, скрип половиц – отец собирался лечь спать. Раздался странно громкий щелчок выключателя – это отец погасил лампу у кровати, – и все стихло. Лина снова посмотрела на фотографию родителей, на сияющий взгляд матери. Лина вспомнила снег в тот день, и как она была потрясена, увидев испуганное, усталое лицо женщины – миг, когда она поняла, что эта женщина не могла бы быть ее мамой.

Джозефина

До Джозефины вдруг донесся голос Миссис – тихий зов, похожий на птичий крик, повторяющийся с резкой настойчивостью: «Джозефина! Джозефина!» Звук вывел Джозефину из задумчивости – она даже не понимала, в первый раз слышит свое имя или в десятый. Открыв дверь спальни, Джозефина увидела, что Миссис сидит на кровати спиной к двери, волосы распущены по плечам. Близился полдень, и солнечный свет проникал в комнату через два окна, выходящих на юг, прямо напротив Миссис, те самые, в которые Джозефина пыталась утром заглянуть из сада; два окна на западной стене были темными, с задернутыми шторами. Только одно окно, то, что ближе к Миссис, было открыто, и комната все еще дышала запахом доктора Викерса и его припарок.

– Доктор Викерс ушел, Миссис, – сказала Джозефина. – Скоро обед. Давайте наденем платье.

Миссис энергично кивнула, неровные концы ее темных волос взметнулись и упали на спину.

– Да, да, доктор. Джозефина, мне сегодня нехорошо, совсем нехорошо.

Она повернулась, и Джозефина увидела кровь на ее лице. Вдоль изгиба левой щеки шел глубокий горизонтальный порез, уродливая, открытая, кровоточащая рана. В глазах Миссис на миг мелькнуло удовлетворение, а может быть, гордость, которая тут же сменилась выражением страха и боли.

– Миссис, что случилось? – Джозефина подбежала к кровати и обхватила ладонями лицо Миссис. Под кровью виднелась кость, и Джозефина соединила края раны. Разрез был прямым и ровным, края сошлись аккуратно, как рубчики на ткани при сшивании. Джозефина потянула за уголок простыни и оторвала полоску полотна с треском, который показался громким и зловещим. Она поднесла полоску к щеке Миссис и прижала к порезу, но кровь текла и текла, капли стекали по запястью Джозефины в рукав ее платья. Миссис Лу молчала, безучастно поддаваясь манипуляциям Джозефины, ее глаза были пустыми, а дыхание частым.

Наконец Джозефина отпустила лицо Миссис Лу и осторожно сняла полоску простыни, набухшую от крови.

– Это доктор сделал? – спросила Джозефина.

Миссис Лу не ответила, только глубоко вздохнула, а потом сказала:

– Джозефина, ты просто прелесть. Ну кто, по-твоему, это сделал? Как ты думаешь, кто? – Она улыбнулась хитрой улыбкой, какой Джозефина раньше никогда не видела. – Я сама. Кто же еще? Мне больше не нужно это лицо. Я слышала, что сказал доктор. Я подслушивала у двери и слышала, что он сказал тебе. Я умираю.

– Миссис, нет... – начала Джозефина, но поняла, что не может продолжать. Она подошла к миске и кувшину, вымыла руки, как следует отжала рукав платья и намочила новый кусок ткани для Миссис. Слова, которые могли бы утешить Миссис, застряли в горле. Конечно, ей бы хотелось, чтобы Джозефина опровергла ее слова: «Нет, Миссис, вы неправильно поняли доктора. Он не сказал ничего плохого, и мои услуги совсем не нужны». Возможно, в другой день Джозефина так и сказала бы. Она делала так раньше, в других случаях, когда хозяйку нужно было утешить. Она приглаживала волосы Миссис, брала ее за руку и гладила по спине, как сестра, или мать, или дочь.

Но сегодня Джозефина не смогла произнести ни слова. Ей казалось, что она далеко от этой комнаты, от Миссис Лу, от солнца на половицах, от следов крови, как будто она жила по правилам, касающимся только ее, по правилам, которые имели отношение только к ее побегу. Каждый нерв, каждый мускул стремился к этой единственной цели – побегу, а простые дела, которые Джозефина делала, вещи, которых она касалась, слова, которые произносили ее

губы, – «Да, Миссис»; «Да, Мистер» – привязывали ее к этому месту, и она хотела сбросить их, стряхнуть, как собака стряхивает воду с шерсти. Какая-то часть Джозефины уже вышла из ворот и повернула влево, на дорогу в город. Ее голова как будто превратилась в стрелу, как у того воробья, и указывала, куда лететь.

Джозефина вернулась к кровати с куском влажной ткани. Она села рядом с Миссис и взяла ее лицо в ладони, чтобы обмыть порез. Кровь еще не высохла и сходила легко, кожа под ней оставалась влажной, розовой и припухшей. Миссис Лу поморщилась от боли, но не отстранилась.

– Знаешь, раньше я была писаной красавицей, – сказала Миссис. – Все мои сестры презирали меня за это. А мама и папа, о, они даже испугались, когда увидели меня в новом платье в мой день рождения. В тринадцать я уже была неотразима. В тринадцать, представляешь?

Миссис отстранила руки Джозефины и поднялась с кровати. Она прошла на другой конец комнаты и распахнула шторы на дальних окнах, в которые внезапно хлынул свет. Джозефина прищурилась, прикрыла глаза рукой, отведя их от яркого света. Ее взгляд упал на подоконник. Там лежал кухонный нож, лезвие испачкано красным. Вот чем воспользовалась Миссис, ножом из собственной кухни.

Миссис Лу продолжала говорить:

– Я прожила здесь дольше, чем на папиной ферме. Ты это знаешь? Боже, как это больно. – Миссис покачала головой. – Я столько растратила впустую. Почти все, да, именно так. Мало что осталось от моей красоты, и я передаю это тебе. Передаю тебе, Джозефина. Больше у меня никого нет. – Произнося это, она медленно шла назад, к Джозефине, скользя пальцами по стене и по стеклам окон. – У меня было прекрасное лицо, знаешь? Я была писаной красавицей.

Миссис Лу приблизилась к последнему окну, метнулась за ножом на подоконнике и обхватила пальцами рукоять. Джозефина была наготове. Она спрыгнула с кровати, схватила Миссис за плечи, оттолкнула ее от окна и, прижав к стене, удерживала, как та ни сопротивлялась. Джозефина тяжело дышала, но знала, что удержит ее. Миссис весила не больше ребенка. Только кожа да кости.

Миссис Лу перестала бороться и опустила голову, но все еще часто дышала, и Джозефина не отпускала ее. Они стояли так, пока Миссис Лу не опустилась на пол, тихо плача.

– Ты не понимаешь, – сказала она. – Это все, что у меня есть, чтобы дать тебе, Джозефина. Больше ничего нет.

Оставив Миссис Лу у стены, Джозефина подошла к открытому окну. Она взяла с подоконника нож и длинным, сильным взмахом швырнула его из окна на лужайку. Он упал лезвием вниз, резная костяная рукоять едва виднелась в высокой траве. Какое-то время Джозефина смотрела на нее, потом налетел ветер, пейзаж изменился, и нож исчез в зелени. Джозефина снова повернулась к Миссис.

– Давайте приведем вас в порядок перед обедом.

– Оставь меня, просто оставь в покое. Я так устала. – Ноги Миссис подгибались. Ворот сорочки широко распахнулся и обнажил тонкий выступ ключицы.

Джозефина снова ощутила тень жалости и быстро моргнула, чтобы прогнать ее. Она подошла к Миссис Лу, сидящей у стены, помогла ей встать и подвела к кровати.

– Ложитесь, – сказала Джозефина и села рядом с ней. Снова намочив ткань, стерла с пореза остатки крови. Осторожно придерживая ладонью лицо Миссис, она поворачивала его, чтобы тщательно протереть кожу. Миссис закрыла глаза.

– Больше так не делайте, Миссис.

– Хорошо, Джозефина.

Миссис откинулась на подушки, ее дыхание выровнялось, черты смягчились. Миссис Лу теперь настолько изменилась, что стала совсем не похожа на ту Миссис, которая много лет назад пришла по тропинке, чтобы забрать Джозефину. Щеки впали, волосы поредели, и вся

она как будто выстирана, выжата и выброшена на грязную отмель реки. Джозефина верила в то, что сказала Миссис; она все еще видела следы былой красоты. Изящно вылепленное лицо, полные губы. Это останется при ней до самой смерти.

Чувство, которое Джозефина испытывала к Миссис, было кислым и сладким, горячим и холодным; Джозефина ощутила вспышку нежности, настолько острую, что захотелось ударить Миссис по лицу или вонзить ногти в ее мягкую руку, в розовую кожу под завесой тонких волос. Миссис не была Джозефине ни защитницей, ни наперсницей, ни подругой. Но это Миссис научила ее читать, это она вытирала пот с лица Джозефины, когда в одиннадцать лет у нее так поднялась температура, что она упала на кухне, ударившись щекой о прохладный каменный пол. Платье, которое Миссис надоело, она отдала Джозефине. Хлопковое, с рядами маленьких синих цветочков и зелеными стеблями. Джозефина надевала это платье каждое воскресенье, пока пуговицы на спине не перестали сходиться, как бы она ни затаивала дыхание и ни втягивала живот. Когда пуговицы перестали сходиться, она плакала, потому что это платье было самой красивой вещью, которую она когда-либо держала в руках.

Джозефина никогда не знала имени своего отца. Лотти говорила, что он, наверное, был белым, не зря же у нее светло-коричневая кожа и голубые искорки в глазах. Миссис Лу забрала семилетнюю Джозефину из хижины после того, как потеряла очередного ребенка. Дела на ферме еще шли хорошо: у Мистера был двадцать один полевой работник, они выращивали табак и пшеницу, в стойлах стояло восемь коров и пять лошадей, а еще была сушильня, где делали табак для продажи. Мистер не хотел брать Джозефину; он хотел купить новую служанку, а Джозефину отправить работать в поле. Но Миссис настояла.

Миссис Лу обычно спускалась туда, где играли дети полевых работников, к высокому дубу, извилистые корни которого поднимались из земли, так что там были места, где можно было спрятаться, прохладные и темные. Миссис сидела на корне и вместе с детьми хлопала в ладоши, пела песни, играла в прятки. Джозефину ей приходилось искать дольше всех. Остальные дети уже, устав от игры, убегали, а Миссис все кружила вокруг дерева и кричала: «Где ты, Джозефина? Выходи!» Она давала Джозефине самое большое печенье или дарила какую-нибудь мелочь, однажды дала тряпичную куклу, и другие дети дразнили ее за это, и даже не хотели играть с ней, едва Миссис Лу уходила в дом, и они оставались одни.

Лотти говорила Джозефине, что они просто завидуют и что она должна пользоваться вниманием Миссис Лу. Более обильная и вкусная еда, что-нибудь теплое на зиму, дополнительное одеяло на кровать. Может быть, уроки.

И поэтому Джозефина без слез и угрызений отправилась в дом на следующий день после того, как Миссис Лу пришла в хижину. Лотти и Уинтон только что вернулись с полей, Лотти разогревала соленую свинину с капустой на открытом огне во дворе, а Уинтон на ступеньках вырезал что-то из березовой чурки – ложку или игрушку, которую в воскресенье он, возможно, продаст белым за грош-другой. Джозефина сидела на земле у очага, принохиваясь к ужину; в животе у нее урчало в предвкушении момента, когда Лотти закончит и она получит стальную миску. Уинтон и Лотти первыми увидели Миссис и одновременно посмотрели на нее. Глаза Джозефины были прикованы к черному горшку, поэтому она увидела только, что Лотти повернула голову, и с тревогой подумала, что теперь ужин придется отложить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.